



Вика Ройтман

CoRpus

Йерве из Асседо

“ Автор выбрал тему самую трепетную, трудную, жестокую и милосердную: тему взросления юной души. И любовь, конечно же. Конечно же, Любовь.

ДИНА РУБИНА

Русский Corpus

Вика Ройтман

Йерве из Асседо

«Издательство АСТ»

2023

УДК 821.161.1-1(569.4
ББК 84(5Изр)-44

Ройтман В.

Йерве из Асседо / В. Ройтман — «Издательство АСТ»,
2023 — (Русский Corpus)

ISBN 978-5-17-146077-8

Пятнадцатилетняя Зоя впервые уезжает из дома, от любящей семьи и любимой Одессы, в Деревню Сионистских Пионеров — израильскую школу-интернат. Совсем недавно она не догадывалась о своих еврейских корнях, но после коллапса СССР ее жизнь, как и множества ее бывших соотечественников, стремительно меняется. Зое предстоит узнать правду о прошлом своей семьи и познакомиться с реальностью другой страны, которая, не стараясь понравиться, станет для нее не менее близкой. Девочка из Одессы отчаянно сражается с трудной задачей: открываясь новому, сохранить верность тому, что она оставила позади, — и остаться самой собой. В тонком, ироничном и очень человечном романе Вики Ройтман история взросления девочки-подростка, которая учится справляться с бурными чувствами и принимать самостоятельные решения, неотделима от атмосферы девяностых с ее острой смесью растерянности и надежд на пороге распахнувшегося мира. В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

УДК 821.161.1-1(569.4
ББК 84(5Изр)-44

ISBN 978-5-17-146077-8

© Ройтман В., 2023
© Издательство АСТ, 2023

Содержание

Глава 1	6
Глава 2	13
Глава 3	17
Из летописи Асседо	23
Глава 4	27
Глава 5	30
Глава 6	34
Глава 7	37
Глава 8	41
Глава 9	46
Глава 10	51
Глава 11	56
Глава 12	60
Глава 13	65
Глава 14	67
Глава 15	73
Глава 16	79
Глава 17	87
Глава 18	96
Глава 19	101
Конец ознакомительного фрагмента.	104

Вика Ройтман Йерве из Асседо

Всем выпускникам программы "Наале"

Издание осуществлено при содействии Литературного агентства Ольги Рубис



© В. Ройтман, 2023

© Д. Черногаев, оформление обложки, 2023

© А. Бондаренко, макет, 2023

© ООО "Издательство АСТ", 2023

Издательство CORPUS ®

Глава 1

Василиса

*В свой черед коснется слуха
тот сигнал валторны строгой,
что вязать велит пожитки.
Ни пера тебе, ни пуха.
Отдохни перед дорогой.*

*М. Щербаков
Памяти всех*

Впервые я закричала в начале мая.

Свежие туристы поднялись на катера “Ливерпуль” и “Генуя” и поплыли не к берегам Нового Света, а на пляж Ланжерон.

Кричали торговки пирожками, квасом и рачками; мамы кричали детям: “Не перекупайтесь!”; кричали моряки друг на друга, привязывая катера к пирсам и подавая трапы, а на моряков кричали капитаны. Чайки кружили над ними и тоже, стало быть, кричали.

Дома кричал мой старший брат, потому что мама отсутствовала уже довольно долго – кормила кричащую меня, а папа был занят своими учениками и их родителями, которые на него кричали, потому что он никогда своих учеников не оценивал выше чем на четверку.

“Четверка с плюсом – это для господ бога, а пятерка – для меня!” – кричал папа, и за это на него кричал завуч, поскольку господ бога упоминать на родительских собраниях было не комильфо.

– Что такое “комильфо”? – спросила я у бабушки, когда научилась говорить. – Только не кричи на меня.

– С чего бы это мне на тебя кричать? Я что – изверг? – спросила бабушка, которая всегда старалась не кричать, так как была родом из интеллигентной семьи врачей и фельдшеров, но ей не всегда удавалось. – “Комильфо” – это антоним моветона и синоним бонтона.

Вместо одного я обзавелась еще четырьмя незнакомыми словами. Так всегда было с бабушкой: она изображала из себя то аристократку, то базарную торговку, как будто так и не определилась со своим истинным призванием.

– Я таких слов не знаю, – честно призналась я.

– Горе ты мое неразумное. Гувернантку бы тебе, как в старые добрые времена. Она бы из тебя сделала человека. Ходила бы по струночке. Была бы мне полиглотом. Может, даже стала бы вундеркиндом, как твой брат. Так нет, разве кто-то займется ребенком? Разве у кого-то имеется на ребенка время? Совсем распоясалась. Выглядишь мне как пролетарий всех стран. “Комильфо” – это так, как надо.

– Ясно, – заключила я. – Значит, я – не комильфо.

– Будешь ты еще комильфо. – Бабушка потрепала меня по голове. – Обязательно когда-нибудь станешь. Комильфее не бывает.

И продолжила чистить картошку.

С тех самых пор все и зовут меня Комильфо. Сперва меня так называли воспитательницы в престижном детском саду “Сказка”, где воспитывались дети работников порта и дети их знакомых и родственников. Потом – учителя из нашей с папой школы, тренер по акробатике, ведущая английского кружка в Доме ученых, хоровик из Дворца пионеров, Алена Зимова, Митя Караулов, вся моя родня и я сама.

Вот, например, бегу я по Бульвару, залезаю на фонтан под Пушкиным, окунаю голову в массивную чашу, под струи, льющиеся из глоток чугунных рыб.

– Комильфо! – кричат ветераны Великой Отечественной войны. – Что ты вытворяешь? Как тебе не стыдно?! А ну слезай, не оскверняй память поэта! Он памятник себе воздвиг! Где твой дед?

После кровоизлияния в мозг мой дед заболел агнозией. Это такая болезнь, когда все видишь, но ничего не узнаешь.

Смотришь на грушу и не понимаешь, груша это или абрикос, а может быть, и вовсе кошелек. Думаешь, что глядишь на Александра Сергеевича, а он оказывается Михаилом Юрьевичем. И как тут не перепутать собственную внучку с соседской?

Дед наловчился узнавать предметы по запаху и прикосновению, а людей – по походке. То есть получается, что когда один орган чувств портится, можно положиться на другие. А та доля мозга, которая распознает движение, только косвенно соприкасается с частью, которая поломалась. В общем, дед мог смотреть футбол, где бегают люди, и читать газеты, а находить в холодильнике масло и хлеб затруднялся. Газеты он мог читать, потому что слова в мозгу тоже располагаются не там, где находятся лица, а в совершенно другом месте. Лиц мой дед не распознавал.

Я этим часто пользовалась. Когда дед приходил забирать меня из школы, я делала вид, что я – не Комильфо, и удирала в подворотню с Аленкой Зимовой через лаз в заборе. Бежала я специально в не присущую мне припрыжку, отбрыкивая ногами, чтобы дед не узнал меня по походке. Он стоял посреди школьного вестибюля и кричал: “Комильфо! Комильфо, ты где?” А меня уже след простыл, и я перепрыгиваю во дворах улицы Гоголя с одной стены на другую, а Алена страшит.

Потом мне было стыдно, но я все равно не могла отказаться от исследования черных ходов, которыми был утыкан весь город, как голландский сыр. В захламленных двориках с покосившимися балконами, кривыми гаражами и облезлыми стенами можно было подглядывать за изнанкой жизни. А время там навсегда застряло довоенное, а может быть, даже и дореволюционное. На обратной стороне Одессы воображение особенно обострялось, и я могла быть Кемугодно, и вовсе не обязательно Комильфо.

Дома на меня опять кричали и кормили котлетами с пюре. Пока все не съем, не встану из-за стола, и как мне не стыдно, у бабушки может случиться инфаркт, а это гораздо хуже агнозии, потому что с сердцем не играют, а с мозгом – пожалуйста.

С мозгом любил играть мой старший брат. Ему тогда было очень много лет, несусветно много. С мозгом он играл в “Что? Где? Когда?”, в шахматы, в преферанс, разгадывал кроссворды наперегонки с папой и мастерил макеты самолетов и пароходов при помощи рук, но и не без помощи мозга. Брат был всеобщим любимцем, за что и получил звание Главного Вундеркинда. Из этого следует, что я титуловалась Второстепенным Вундеркиндом.

Правда, бабушка была права, и вундеркиндства во мне – “раз и обчелся”. Природа талантами меня не наделила. Училась я исключительно на тройки с плюсом, в акробатических пирамидах всегда размещалась внизу, являя собою устойчивую колонну для карабкающихся вверх тонюсеньких девчонок. По-английски умела произнести: “Вер из де дог? Де дог из ин де хауз”, а в хоре пела третьим голосом, что означало, что когда пели первые и вторые голоса, я продолжала успешно изображать колонну и открывала рот, только когда в припеве начиналось “пусть всегда будет мама”. Солнце и небо меня, стало быть, миновали.

А все потому, говорил хоровик, что я не пою, а кричу.

Зато у меня было богатое воображение, я умела вышивать крестиком и гладью, грызть ручки и ногти, знала все потайные лазы Жовтневого района, приземлялась всегда на ноги и плавала как рыба. Благодаря деду.

Еще до того, как дед заболел агнозией, он научил меня держаться на воде. Ведь задолго до того, как он заболел агнозией и научил меня держаться на воде, он был бортовым механиком на кораблях и воевал с фашистами в артиллерийском полку. Когда я хорошо себя вела, он показывал мне шрам, пересекающий его бедро, – след боевого ранения. Шрам уже давно не болел.

Дед был импозантен, статен и седовлас. С бабушкой у них оказалась одна любовь на всю жизнь. Они познакомились после войны, когда дед по пути домой в Херсон остановился на отпуск в Одессе. “Сделал привал” – так он говорил. В итоге визита к дальним родственникам, где гостила и юная бабушка, дед привалился к Одессе на веки вечные и стал гораздо большим одесситом, чем бабушка, которая была одесситкой корнями. Корни начинались на Екатерининской площади. То есть на площади Потемкинцев.

Когда-то бабушкиным родителям, зубным врачам, принадлежала колоссальная квартира с огромным количеством комнат, числом пять. Но потом семейство сослали в эвакуацию в Казань, где бабушка отморозила ноги, когда носила воду в коромысле зимой из реки. А когда они вернулись в Одессу, квартиру разделили на коммуналки, и им выделили две с половиной оставшиеся комнаты и чулан в качестве премии.

После эвакуации одесситов от неодесситов трудно было отличить, потому что в Одессе хотели жить все, даже те, кто не был из нее эвакуирован. И несмотря на то, что многих одесситов убили на войне, их ряды тут же пополнились новыми желающими.

“Подиспанец хорошенький танец, танцуется очень легко – подайте мне левую руку, и танец пойдет хорошо”, – пел дед, пританцовывал и отвешивал бабушке поклон. Танцевать я любила, а бабушка – не очень. После отмороженных ног у нее пропало всяческое желание подпрыгивать. Поэтому левую руку подавала деду я, а не она, и мы кружились вокруг обеденного стола по большой комнате на Екатерининской площади. То есть Потемкинцев.

После войны дед поработал в порту, а потом ему надоело, он решил стать лошадиником и получил место на ипподроме. У него было много знакомых в цирке, потому что ипподром и цирк иногда менялись конями по надобности. Так что я часто бывала за кулисами цирка и ипподрома и гладила лошадей по гривам. Иногда я садилась на них верхом.

У меня была любимая лошадка Василиса – спокойная и мечтательная, серая в яблоках. Мы с ней очень сдружились. Но однажды Василиса испугалась цирковой хлопушки, встала на дыбы и случайно сбросила с себя наездницу, стоявшую в тот самый момент в седле на руках. Наездница получила травму головы. За это Василису подвергли наказанию и отправили на колбасу.

Сперва мне об этом не сообщили, чтобы уберечь ребенка от потрясения. Но когда дедушкин сотрудник, дядя Армен, проболтался мне о горестной участи Василисы, я тоже получила травму головы.

Я закрылась в чулане, где хранилось постельное белье, довоенные полотенца, дореволюционные перины, изъеденные молью шубы и старая раскладушка, и отказалась выходить. Котлеты мне подкладывали под дверь, но я к ним не прикасалась, из уважения к памяти Василисы. С тех пор я никогда больше не ела мяса.

Родители были в ужасе и кричали на деда в страхе, что ребенок отощает, бабушка кричала на родителей, брат кричал, что ему мешают сосредоточиться на защите Каспарова, но я не кричала, а беззвучно рыдала в запредельную подушку, поскольку то, что проделали с Василисой, не влезало ни в какое комильфо.

Алена Зимова пришла в гости и долго стучала в дверь чулана, умоляя выйти во двор и вынести мяч. Я сжалась над Аленой, чей мяч на прошлой неделе был изгрызен бульдогом, принадлежавшим Мите Караулову, и открыла дверь.

– Ее убили, – сквозь слезы сказала я Алене.

– Кого? – спросила Алена.

– Мою лошадь.

– У тебя была лошадь? – удивилась Алена, которую я никогда прежде не посвящала в события моей внешкольной и вне-дворовой жизни.

– Была. Но ее больше нет.

– Бедная лошадь, – с глубоким сочувствием произнесла Алена. – Давай поиграем в “язня-юпятымендевичек”.

– Ладно, – согласилась я и вынесла мяч во двор.

Родители не пытались мне воспрепятствовать, как делали обычно, поскольку понимали, что свежий воздух полезен для травмы головы.

Во дворе мы разогнали всех голубей и взялись за мяч, но я не была вовлечена в игру и не могла вспомнить больше трех имен мальчиков, а все девочкины имена в моей голове были заняты Василисой.

Тяжело вздохнув, Алена достала из кармана куртки растянутую резинку для прыганья с отчаянными узелками по всей длине. Но поскольку во дворе в этот полуденный час мы были совершенно одни, а для игры в резинку, как известно, нужен третий или устойчивый стул, Алена попыталась криками вызвать во двор Митю Караулова.

Вместо Мити в окно третьего этажа высунулись головы Митиногo бульдога и его мамы.

– Чего разорались? Митя делает уроки, – заявила голова Митиной мамы. – Не шумите – разбудите Митину сестричку.

Бульдог громко залаял.

Мы долго искали, к чему привязать лишний край резинки, но нашли лишь поломанный табурет о двух ногах и ржавую решетку подвала под лестницей, а скакать в резинку на ступеньках не комильфо, так что пришлось отказаться и от этой забавы.

– С тобой невозможно играть, – с обидой заявила Алена. – Скучная ты какая-то.

– Я не скучная, я травмированная, – попыталась я оправдаться.

– Из-за лошади, что ли?

– Ага.

– Да не в лошади дело, ты всегда скучная, Комильфо. Между прочим, с тобой не о чем разговаривать. Почему ты мне не рассказала, что у тебя была лошадь? Моя мама говорит, что ты только и умеешь, что по заборам лазить, а мы уже взрослые леди, и нам пора остепеняться.

Слово “леди” повергло меня в пучины отчаяния, потому что я моментально представила седых старушек в кружевах с круглыми брошками под горло, пахнущих чуланным нафталином и пьющих чай с сухарями. О моем богатом воображении никто не догадывался, даже дед, поскольку то была моя персональная тайна. Может быть, именно поэтому гибель Василисы так меня травмировала – ведь я не могла запретить себе воображать ее превращение в колбасу.

Я не на шутку обиделась, отвязала резинку от решетки и бросила ее Аленке:

– Ну и иди дружи со своими леди, я с тобой больше не играю.

И я гордо развернулась и через темную арку первого двора направилась на Бульвар.

Никогда прежде я не ходила на Бульвар одна, потому как для того, чтобы попасть на Бульвар, следовало пересечь оживленный перекресток у площади Потемкинцев – миссия, которая мне еще не была доверена старшими. Пешеходные переходы гораздо страшнее черных ходов, тем не менее я посмотрела налево, потом направо, потом еще раз налево – и преодолела перекресток. Воодушевленная таким свершением, я показала язык уродливой глыбе из ищущих что-то на земле матросов и помчалась напрямик к Дюку.

Дюк был моим самым любимым памятником на свете и почти родным человеком. Не раз утешал он меня в печали и в тоске своей незыблемостью, был мудр и изящен, всегда смотрел ясным взглядом за горизонт, и я была уверена, что с высоты пьедестала ему видны не только Турция и Болгария, а и сама Америка.

Но не только персонально Дюк был мною горячо любим, но и его пьедестал, с разных сторон украшенный выпуклыми барельефами, на одном из которых изображался мешок с деньгами настолько всамделишными, что я не раз пыталась выковырять пальцами монеты из сумки бронзового человека со змеей на палке.

Вот и теперь я занялась любимым делом: залезла на подножие Дюка и принялась делать вид, что сейчас разбогатею.

Когда я разбогатею, думала я, сяду на корабль “Дмитрий Шостакович” и уплыву в Америку. Как тетя Галя и дядя Миша, которые уехали в Штаты до того, как я закричала впервые. Я никогда не видела их живьем, но фотографии, которые они присылали бабушке, могла рассматривать часами. На них улыбающиеся люди в разноцветных одеждах ели невиданные огромные бутерброды, восседали в бархатных креслах в огромных гостиных, купались в частных бассейнах и ходили в Диснейленд.

Когда разбогатею, первым делом поеду в Диснейленд и сяду на вертящийся космический корабль, думала я, кладя бронзовые монеты в карман. И никакая Алена мне не будет нужна, и плевать на третий голос и на акробатические пирамиды, все равно я никогда не хотела быть акробаткой, а мечтала стать балериной. В Америке стану первой певицей и главной танцовщицей в балете, и, во всяком случае, колбасу там делают не из лошадей, а из ветчины, это я знала точно.

– Помогите мне, пожалуйста, товарищ Дюк, – крикнула я, задрав голову к небу.

– Хорошо, девочка моя, – кивнул мне Дюк. – Я тебе помогу. Здесь тебе нечего делать. Здесь тебя никто не любит, не ценит и не понимает. Уноси отсюда ноги во-о-он туда!

Дюк указал свитком на маяк, который красным глазом мигал катерам, кометам и одному катамарану, заходящему в порт.

Легкий ветерок пробежался от моря вверх по Потемкинской лестнице, зашелестел в листьях каштанов и заплакал крупными слезами летнего дождя. Стало прохладно, я поежилась и поняла, что уже стемнело.

– Комильфо! – закричала перепуганная мама, внезапно возникшая у подножия дюковского пьедестала среди группы туристов и одного экскурсовода с желтым зонтом. – Ты с ума сошла?! Что ты вытворяешь? До чего ты хочешь нас всех довести? Как тебе не стыдно?! Весь дом на ушах! У бабушки будет инфаркт! Кто тебе разрешил самой... на Бульвар?! Хочешь, чтобы тебя цыгане украли?

Экскурсовод с негодованием покосился на маму, собравшуюся испортить представление туристов об Одессе.

– Одесские цыгане безвредны, – заявил он не то маме, не то своим подопечным.

Последние недоверчиво покачали головами и переместили сумки со спин и боков на животы, обняв их обеими руками.

Я вцепилась в ноги бронзового человека с палкой и змеей, но мама уже бежала вверх по ступенькам. Обняла и поцеловала в макушку, затем оторвала от моего защитника, схватила за руку и потащила домой.

– Что мне с тобой делать? – кричала мама по дороге. – Почему ты не можешь быть хоть на йоту такой, как твой брат, я не понимаю.

– Забери меня с акробатики и отдай на балет.

– Забрать тебя с акробатики после того, как ты два года жизни в нее вложила? Какая чушь! Ни в коем случае.

– Тогда давай уедем в Америку.

Мама замедлила шаг и грозно посмотрела мне в лицо.

– Тише! – громко сказала она. – Вслух такие вещи не говорят!

– Давай уедем в Америку, – шепотом повторила я.

– Никуда мы не уедем! – воскликнула мама. – Откуда только ты набралась этих глупостей? Бабушка дурит тебе голову этими своими родственничками.

– Но почему им можно уехать, а нам нельзя?

– Мы живем здесь. Это наша родина, наш дом. Здесь у всех работа, друзья, школа, кружки. Как ты себе это представляешь? Взять и уехать! Вот так вот все бросить – прощайте, любимые! – и драпануть неизвестно куда. Так, да? Так? Можно подумать, там нас ждут.

Мама очень сильно волновалась, больше, чем обычно. Обычно она как будто только делала вид, что волнуется, но на самом деле никогда не теряла самообладания.

– Мне здесь плохо, – сказала я.

– Какой холеры тебе не хватает? Живешь как у Христа за пазухой. Целый день шляешься по дворам. Ни во что не вкладываешься, ни одного дела до конца не доводишь. Думаешь, от себя можно удрать? Да хоть в Австралию уезжай, все равно оглянуться не успеешь, как сама себя догонишь.

Поскольку мама говорила с девятилетним человеком, я мало что могла ей возразить, поэтому повернулась лицом к Дюку, но увидела его удаляющуюся спину.

– Ладно, – сказала мама, успокаиваясь, когда мы подходили к подъезду. – Я понимаю, что ты потеряла Василису. Да, это больно. Но нужно быть сильной. Расклеиться всегда успеешь. Так что соберись и возьми себя в руки!

Мама присела на корточки и взяла меня за плечи, легонько встряхнув.

– На деда посмотри и бери с него пример. Он войну прошел, ранен был, заболел агнозией на старости лет, но ничего, не умер. А ты... это всего лишь лошадь. К тому же ты не была с ней близко знакома. Вы виделись от силы пять, ну, шесть раз...

Тут я заревела так громко, что нарядные прохожие, судя по нарядности, спешащие в Оперный театр, замедлили шаг, обернулись и неодобрительно посмотрели не то на меня, не то на маму.

– Ну что за наказание! – опять вскричала мама и впихнула меня в парадное, а затем и в квартиру.

Там в самом деле все стояли на ушах, кроме брата, который, закрыв уши ладонями, сидел на подоконнике за занавеской и глядел на шахматную доску с тремя фигурами.

Бабушка взяла себя в руки быстрее остальных, отобрала меня у мамы и повела на кухню отпаивать чаем. Чай я не любила, но от бабушки готова была его принять, потому что она обещала после чая накормить меня шпротами.

– Слушай меня сюда, – сказала бабушка, опустившись на табурет. – Все это очень печально, Комильфо, действительно, я не спорю, и дядя Армен, идиот, травмировал твою бедную голову. Но так дальше продолжаться не может. Никто твоим воспитанием не занимается, а Дом ученых не в счет. Ребенок растет как трава. Так что я за тебя возьмусь, потому что я теперь, слава богу, на пенсии. Через неделю мы с тобой едем в Евпаторию. Дед остается, а со мной ты поедешь. Месяц будешь у меня кушать по-человечески.

Услышав волшебное слово, о котором было известно, что оно означает рай, я почти забыла про Василису, про Алену и про Америку, расплылась в улыбке и допила чай залпом.

Но Евпатория оказалась не раем, а только маленькой Одессой, с таким же морем и таким же солнцем. Фантазии в конечном счете всегда бывают интереснее настоящего.

Вместо круглосуточного купания, которое я себе намечала, мне предстояли испытания для головы.

Понимая, что природа обделила меня талантами, а голова моя травмирована бесповоротно, бабушка решила познакомить меня с талантами и головами других людей, поэтому в Евпаторию взяла с собой чемодан с книгами, которые извлекла из высоченного застекленного шкафа в большой комнате.

Сперва она читала мне книги вслух, а затем заставляла читать вслух ей, пока голос не начинал хрипеть. Тогда я вынужденно начинала читать про себя. Эта манипуляция привела к тому, что я очень быстро полюбила чтение про себя и меня стало трудно оторвать от книг, даже несмотря на то, что пляж находится в десяти минутах ходьбы от санатория.

И так случилось, что за время девятого лета после моего первого крика в голове моей Грей смешался с капитаном Бладом, Ункас с Атосом, и я уже не могла отличить Морисамустангера от кентавра Хирона, Паганеля от доктора Ватсона, Овода от мистера Рочестера и Айвенго от Ланселота.

Санаторий и сама Евпатория исчезли и пропали, и больше не существовало на свете никого, кроме Него, даже бабушки.

К концу августа я была впервые неизлечимо влюблена. Если бы спросили, в кого, я не смогла бы дать точный ответ, поскольку влюбилась я в человека, не существовавшего не только в реальности, но даже и на страницах книг. Так влюбиться можно только в плод собственного воображения, загубленного в нежном возрасте чужими представлениями об идеальном.

Тряслась электричка, звенел подстаканник, ударяясь о стекло стакана, за окном мелькал украинский пейзаж, а перед моим носом мелькал не то Рокамболь, не то один из многочисленных сэров Генри. Бабушка пристально на меня смотрела, подозревая, что ее усилия обернулись против нее самой.

– Ну? – спросила она, решив подвести итоги каникул. – И чего скажешь?

– М-м-м, – промычала я сквозь последнее песочное печенье.

Бабушка решительно вырвала книгу из моих рук и захлопнула на самом интересном месте.

– С тобой совершенно невозможно разговаривать! Скажи хоть что-нибудь.

– Я хочу отсюда уехать, – сказала я, взглянув на проносящиеся мимо поля подсолнухов.

– В Америку? – с надеждой спросила бабушка.

– К Нему, – ответила я.

– К кому это?

– Я не знаю, как Его зовут, – сказала я.

– Ах, не знаешь! Где же его тогда искать?

– В зачарованном саду за заколдованной оградой, – ответила я уверенно. – Он там ждет, пока я вырасту.

– Тоже мне, – презрительно фыркнула бабушка. – Комильфо и сбоку бантик.

Глава 2

Катастрофа

С тех пор прошло несколько лет, но мало что изменилось. Моя четырнадцатая осень выдалась жаркой. Пот лился в три ручья, покуда по мне карабкалась Оля по кличке Белуга. Белуга была нашей “высшей”, часто падала с вершин акробатических пирамид и от этого часто ревела. Она залезла на Катю и встала на руки. Потом сделала сальто и приземлилась. Тренер ее страховал, но глаза у нее все равно были на мокром месте. Белугу я ненавидела всем сердцем за то, что она по мне лазила, как будто я была деревом на ее даче.

Переодевшись в чистую футболку с рисунком гавайской пальмы, присланную тетей Галей из Америки, я отправилась домой.

На Сабанеевом мосту мне встретилась Алена, с которой я не разговаривала со времен того памятного дня во дворе, несмотря на то, что мы по-прежнему учились в одном классе. Алена в смущении опустила глаза, потому что рядом с ней шагал Митя Караулов и его престарелый бульдог.

– Привет, Комильфо! – как ни в чем не бывало поздоровался Митя.

И таки не бывало ни в чем, поскольку с Митей мы по-прежнему дружили – катались на великах по парку Шевченко, делились одним абрикосовым мороженым за пятьдесят две копейки, купленным в лотке на Бульваре, плавали в Лузановке до буйка и даже написали эпиграмму в школьную газету на моего папу, к тому времени превратившегося в завуча. Мое соавторство осталось инкогнито.

То есть дружили мы с Митей до того самого дня, в который я застучала его на Сабанеевом мосту с бульдогом и Аленой.

– Привет, – вежливо сказала я. – Пока.

И быстро пошла дальше, поскольку мое скоростное превращение в Белугу казалось неизбежным.

Дома я закрылась в чулане и не выходила из него до вечера, обнявшись с “Всадником без головы”. Через несколько часов мне все же пришлось покинуть чулан, чтобы попить, так как в чулане было не менее жарко, а может, даже и более, чем в тренировочном зале.

– Что опять? – спросил брат, оторвавшись от конспекта.

Брат к тому моменту повзрослел ровно на столько же лет, на сколько и я, и сдавал экзамены в МГУ, РГГУ и еще в какое-то ГУ, к папиному ужасу ни с того ни с сего решив стать гуманитарием.

– Ничего, – ответила я и гордо понесла стакан с виноградным соком в чулан.

– А ну стой! – вдруг скомандовал брат громко, и я от неожиданности подскочила и пролила сок на футболку с пальмой.

Брат заговаривал со мной очень редко, тем более в таком тоне, так что неудивительно, что я испоганила любимую пальму. Я посмотрела на него и увидела, что он, в принципе, очень даже не урод, если бы не идиотские очки на пол-лица, которые придавали ему вид черепахи, которая на солнышке лежит.

– Иди сюда, – позвал брат непреклонным тоном.

Я подошла к заваленному бумагами столу.

– Валяй, рассказывай.

– Гнев, богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына, грозный который...

– Не умничай. Что с тобой происходит?

– Ничего со мной не происходит.

Брат снял очки и посмотрел на меня так пристально, что я поняла, что вот уже целую вечность, а может, и всю жизнь не видела его глаз. Глаза брата убедили меня в его хороших намерениях.

– Ну?

– Ну и ничего. Мне просто все это надоело, и я хочу уехать в Америку.

– К Морису-мустангеру в прерии?

– Да хоть к Чингачгуку, какая разница.

– К Чингачгуку не получится, но я как раз хотел тебе рассказать, что в марте начинается набор кандидатов на образовательную программу в Израиле. Мне уже поздно, а ты подходишь по возрасту.

– Где? – удивилась я.

– Дура, – сказал брат.

– Почему? – снова удивилась я.

Брат уставился на меня, как на врага народа, и все положительные намерения из его взгляда стремительно исчезли.

– Тебе не стыдно? Витаешь в каких-то облаках и ничего не знаешь о том, что происходит под твоим носом. Ты хоть в курсе, что Советского Союза больше нет?

Такое событие не прошло мимо меня, поскольку в один прекрасный воскресный вечер я выяснила, что абрикосовое мороженое на Бульваре подорожало в три раза, а в понедельник нам объяснили причину такого скачка в цене мороженого на внеплановом уроке политинформации. Но даже и без политинформации можно было понять, что стряслось нечто из ряда вон выходящее, потому что на ушах стояли все, а некоторые, как, например, мой папа, даже и на бровях.

– Да, я в курсе, – сказала я.

– Она в курсе! Так пришло время быть в курсе и насчет того, что твоя мать – еврейка.

Это прозвучало как страшное ругательство, и я содрогнулась всем телом и даже села на стул рядом с братом. Обвинение моей мамы в еврействе смутило меня не на шутку.

– Не может быть! Нет! – вскричала я в ужасе.

– Тем не менее это так. А раз твоя мать еврейка, значит, и ты тоже. Смирись и получай удовольствие.

Я закрыла лицо руками и попыталась воскресить в памяти все, что мне было известно о евреях.

Я вспомнила, что у Вальтера Скотта женщины-еврейки были красивее мужчин-евреев, и подняла глаза на брата. Он был красивее меня раз в восемьсот. Над евреями всегда смеялись, их унижали, а в некоторых случаях, как утверждал Исаак из Йорка, даже рвали на куски всей толпой. Но надо мной никто никогда не смеялся вслух, а за глаза, кроме, как я была уверена, Белуги, никому не приходило в голову поржать, потому что я была очень серьезной. Разве что хоровик, когда я еще ходила во Дворец пионеров, потешался над третьими голосами. На куски меня тоже рвать никто не собирался, кроме бабушки, когда я надоедала ей в прошлом году, умоляя дать мне почитать “Анжелику”, запертую на замок в чемодане под кроватью, потому что, по мнению бабушки, маркиза ангелов не подходила мне по возрасту. С другой стороны, унижений от Алены и Мити я сегодня нахлебалась вдоволь.

Но все равно такого быть не могло, ни в коем случае. Брат явно решил меня разыграть.

Но он продолжал молчать и, кажется, видел насквозь шестеренки в моей голове, которые начали сбивать и скрипеть.

Из общих знаний и со двора мне было известно, что евреи – это такие жадные и мерзкие людишки, которые сидят на мешках империализма с деньгами, врут и манипулируют, пьют кровь младенцев, носят дурацкую одежду и длинный нос и мешают всем жить, поэтому от них лучше избавляться или обходить их стороной. Даже прекрасная Ребекка, лучшая представи-

тельница этого позорного народа, не удостоилась чести заполучить Айвенго, что же говорить о других еврейках. Ничего общего между ними и моей мамой, а также мной не было. Разве что длинный нос, дурацкая одежда и помехи в жизни других. Я пощупала свой нос.

Тут я вспомнила Бабеля. Брат был прав: я была дурой. Моя любовь к романтической литературе напрочь лишала меня возможности воспринимать другие произведения всерьез, и я читала их только потому, что этого требовала школьная программа, а после контрольных и сочинений они исчезали из моей головы, как будто никогда в ней и не побывали. Но Беню Крика забыть было невозможно.

– Беня Крик – еврей! – От внезапного прозрения я вскрикнула.

– И Беня, и Левка, и Мендель, и Двойра, – сказал брат, лишая меня последней надежды на отождествление с единственным достойным персонажем, принадлежавшим этой презренной нации.

– Двойра? Эта кошмарная уродина? Фу!

– В каждой почтенной семье – не без уроды, – заявил брат, многозначительно подмигнув.

Я вдруг поняла, что ничего не знаю о маминой родне и, как ни странно, никогда прежде ею не интересовалась. В моем представлении моя семья ограничивалась бабушкиными одесскими корнями времен Потемкина Таврического, занесенными на юг из каких-то исчезнувших вместе с Австро-Венгрией польских княжеств, и дедушкиными херсонцами, которые и были херсонцами, а некоторые – очаковцами. Про маминых родителей я ничего не знала и всегда удовлетворялась хрестоматийным “их больше нет”. Ну нет так нет.

– Вот же! – не выдержал негодующий брат, читая мои мысли. – Тебе даже в голову не приходило поинтересоваться, спросить, полюбопытствовать. Игнорамус ты, Комильфо. Так знай, что твои бабушка, дедушка и родная тетя с детьми живут в Иерусалиме. Этот город теперь находится в еврейском государстве Израиль. Мамины родители уехали туда в семидесятых – настоящие диссиденты, не то что твой мустангер. А их родители, твои прародители, – жертвы Катастрофы.

– Какой катастрофы? Авто?

Тут брат схватился за голову:

– Их расстреляли в гетто, на Слободке!

– На Слободке есть гетто? Что такое гетто?

Моя голова решительно не справлялась с таким потоком информации.

– Комильфо, – серьезно сказал брат, – ты уже взрослый человек. Если ты хочешь уехать отсюда, что было бы неглупо, ознакомься со своими корнями. А потом запишись на экзамен для кандидатов в израильскую образовательную программу, сдай его и вали в еврейское государство.

– Сама? – испугалась я.

– Наши с места не сдвинутся, – вздохнул брат. – Папа не оставит бабушку и деда, бабушка и дед никогда не покинут свою любимую Одессу. А мама... Ну, сама понимаешь, что и мама без папы никуда не поедет. Она уже однажды отказалась ехать, тогда, в семидесятых, когда ее родители уезжали. Осталась с папой. Любовь до гроба.

Брат почему-то погрузился.

– А ты?

– Я? – К грусти на лице брата прибавилось замешательство. – Я... я тоже когда-нибудь соберусь. Когда получу образование и стану самодостаточным человеком.

С тех пор я занялась своими корнями и тщательно их исследовала, читая в чулане “Испанскую балладу”. И мама согласилась рассказать мне о том, о чем никогда не заговаривала.

В субботу мы пошли в Городской сад, купили пломбир и сели на скамейку под памятником льва. В беседке оркестр играл аргентинское танго. Мама заговорила. Глаза у нее впервые на моей памяти тоже были на мокром месте, но сквозь слезы она улыбалась. Вспоминала своих

родителей, незнакомую мне тетю Женю и даже показала фотографию десятилетней давности, на которой обнаружились мои двоюродные – мальчик со странным именем Асаф и девочка чуть постарше, с не менее удивительным именем Михаль.

Михаль оказалась очень похожей на меня, и сперва мне померещилось, что я смотрю на свой детский снимок, только цветной. Такие же темные глаза и значительные брови, длинный нос и обветренные губы. Только вместо моих прямых косм у Михаль была очень кудрявая шевелюра, все волосы в пружинах. Это потому, что ее отец – еврей из Йемена, объяснила мама.

– Почему ты никогда мне о них не рассказывала? – все же спросила я маму.

– Зачем теревить прошлое? – ответила мама вопросом на вопрос. – Нечего сожалеть о том, что было. Нужно ценить то, что есть. Я выбрала расстаться с ними и остаться с твоим папой. Я в ответе за свое решение и ни о чем не сожалею. Уехала бы я с ними, не было бы тебя и Кирилла. Говорить о заграничной родне и поддерживать с ними связь в наше время означает... означало подвергать опасности свою семью и себя саму. Я работаю в горсовете, я всегда была членом партии... Черт его знает, что за перемены настают. Все переворачивается с ног на голову. Короче говоря, что было, то прошло.

– Но это же твоя семья! – воскликнула я.

– Нам не дано выбирать, у кого родиться, но мы имеем право выбрать, с кем рожать.

Мама проводила взглядом беременную женщину, проходившую мимо со своим мужем. Мне показалось, что мама злится, и я не могла понять почему.

– Ты не хотела быть еврейкой?

Над маминой переносицей появилась складка.

– Это они не хотели, чтобы я выходила замуж за гоя.

– За кого?

– На еврейском языке “гой” – это любой другой народ, который не является еврейским.

Для евреев все неевреи – гои. Чужаки и изгои.

– А я думала, что евреи – чужаки и изгои.

– Ну, это еще как посмотреть. Все зависит от того, кто и откуда смотрит.

– Так кто же тогда такая я, если оба моих родителя – чужаки в глазах друг друга?

– Сама выбирай, – сказала мама. – Ты уже взрослый человек.

Я задумалась. Странная у меня была мама. Выбор балета вместо акробатики она мне не доверяла, зато считала, что я в состоянии выбрать, к какому народу принадлежать.

Оркестр заиграл “Дунайские волны”. Патлатый гитарист на углу, протестуя, ударил по струнам и затянул “Звезду по имени Солнце”. В струях выстреливающего из огромной вазы фонтана звезда эта дробилась на тысячи маленьких алмазов. Художники мешали краски в палитрах и малевали портреты последних туристов. Дети чертили мелками классики на асфальте. Ученики мореходки группками шагали по Дерибасовской при полном параде, щеголяли тельняшками и отложными воротниками, кадрили загорелых старшеклассниц с выгоревшими начесами и разными серьгами в разных ушах. В кооперативных ларьках продавали керамических разноцветных обезьян – символы китайского уходящего года. В других ларьках продавались переливающиеся открытки с видами Одессы, импортная жвачка, ластики, отрывные календари с гороскопами, медали и ордена Великой Отечественной войны. В воздухе неуловимо пахло котлетами и колбасой.

– Я одесситка, – вдруг поняла я. – Это такой гой сам по себе.

Мама грустно усмехнулась и сказала:

– Одесса закончилась. Все закончилось, и непонятно, что будет дальше. Одесса – это состояние детства. И больше ничего.

Глава 3

Патрия

В душной маленькой аудитории на бывшей улице Карла Либкнехта, в бывшем техникуме бывшей механизации бывшего сельского хозяйства, набилось так много кандидатов и их родителей, что я покрылась холодным потом – не было никаких шансов, что я пройду отбор в еврейское государство.

На экзамены записывали всех, а принимали вовсе даже не всех и по непонятным критериям. Экзаменаторы искали подростков, способных к самостоятельной жизни вдали от дома, но как эту самостоятельность продемонстрировать за несколько часов тестирования, мне было невдомек.

Я ведь даже яичницу не умела толком пожарить, потому что кухня всегда была оккупирована бабушкой; а в ненавистных спортивных лагерях на Лимане я вечно жалась к мастерам, которые по утрам снисходительно шефствовали надо мной, а по вечерам изгоняли. Но назло всем я решила ее проявить, самостоятельность эту.

“Назло” было ключевым словом во всех моих последующих решениях.

Раз от меня всю жизнь скрывали, что я еврейка, назло всем решила я перещеголять всех своим еврейством.

Брат снабдил меня номером телефона Еврейского Сообщества Сионистов – организации, чье название звучало как подпольное сборище масонов и вредителей.

Приятный женский голос очень обрадовался моему звонку и пригласил на встречу, можно даже прямо сегодня, зачем отходить от кассы. Поскольку уроки я уже доделала, как была в школьной форме, так и направилась на Воровского – бывшую и будущую Малую Арнаутскую.

В красивом просторном кабинете, совсем еще недавно принадлежавшем кролиководческой конторе, висел белоголубой флаг с необычного вида звездой посередине. Под флагом сидела сама обладательница приятного голоса, которая представилась Маргаритой Федоровной Вакшток, но ее можно называть просто Магги, потому что в еврейском государстве не терпят... то есть не любят официоза и формализма... то есть формалистики... ведь все евреи братья и сестры, одна большая семья, десять потерянных колен, и только два выжили. Она рассказала мне о том, как рада, что советская... то есть бывшая советская еврейская молодежь проявляет неподдельный интерес к своему эриту... то есть наследию.

– Я знаю, что такое эриту, – сказала я, обижаясь.

– Ах! Интеллигентная советская еврейская молодежь! – довольно улыбнулась Маргарита Федоровна, то есть Магги. – Вы хотите сделать алию?

– Со мной можно на “ты”, – сказала я. – Евреи не любят официоза. Что такое алия?

– Алия на иврите значит поднятие... то есть поднятие... ну, в общем, когда идут вверх или наверх. Но это синоним слова “иммиграция”... то есть “эмиграция”. Но мы называем это репатриацией. Ты понимаешь, что это значит?

Со словами я ладила лучше, чем с людьми, так что я поняла.

– Наверное, это когда человек возвращается туда, где жили его отцы.

– Какая умная девочка! – обрадовалась Магги. – Как тебя зовут?

– Комильфо.

– Как-как? – Магги, вероятно, попыталась найти подвох в моем представлении.

– Ну, так. Все меня так зовут.

– А человеческое имя у тебя есть?

– Есть, – ответила я, несколько удивившись, ибо впервые за долгое время была вынуждена вспомнить свое человеческое имя. – Меня зовут Зоя.

Магги почему-то нахмурилась:

– А еврейское имя у тебя есть?

– Нет.

– Ладно. Придумаем что-нибудь.

Я разозлилась. Вот так всегда – стоит назвать свое имя, и всем обязательно необходимо придумать мне новое. Зачем его тогда вообще произносить?

– А фамилия у тебя есть?

– Есть. Прокофьева.

Магги достала из ящика стола какую-то анкету и приготовилась записывать.

– Зоя Прокофьева, у тебя все в семье евреи?

– Только мама.

– А папа?

– Папа одессит и гой.

Я думала, что Магги обрадуется моим еврейским знаниям, но она снова нахмурилась.

– Одессит – это не народопринадлежность... то есть не национальность. И тем более – гой. Как некрасиво ты говоришь о своем родном отце! Твои родители что, в разводе?

– Нет, вы что!

Слово “развод” звучало гораздо хуже, чем слово “еврей”.

– Кто твой папа по национальности?

Я пожала плечами:

– Не знаю точно. У него есть польские корни, венгерские, херсонские, буковинские...

– Украинец?

– Пускай будет.

– Мама-еврейки достаточно. Тебе повезло, ты – Галаха.

Очень повезло, я аж подпрыгнула про себя от такого везения. Знать бы еще, кто такая Галаха. Но слово мне понравилось: напомнило имя рыцаря Круглого стола, который в итоге обскакал всех остальных рыцарей и получил чашу Грааль.

– Ты еврейка с правильной стороны. Если бы евреем был только папа, ты была бы незаконной еврейкой... то есть не иудейкой... то есть по религиозному закону еврейкой ты бы не была, но все равно прошла бы по закону о возвращении.

– Куда прошла?

– В Израиль. Все отпрыски евреев до третьего поколения имеют право репатриации. Ты же хочешь репатрироваться в Израиль?

Я не хотела репатрироваться в Израиль, моя единственная патрия была Одессой, поэтому репатрии у меня быть не могло. Уехать я мечтала в Америку, а с Магги я разговаривала, потому что хотела сделать всем назло. Но эти факты я скрыла от Магги и сказала “да”.

– А что твои родители, Зоя? Они не хотят репатрироваться в Израиль? Почему они не пришли вместе с тобой?

– Не хотят, – призналась я.

– Почему?

Я вздохнула, не имея ни малейшего желания объяснять про большую любовь друг к другу и к Одессе, про бабушку и деда, про сваливших родичей – чужаков, да и вообще, какое ее дело?

– Маргарита Федоровна, – сказала я, начиная злиться, – вы меня запишете на эту вашу программу? Да или нет?

– На какую программу ты бы хотела записаться?

– Ну, на ту, по которой дети едут учиться без родителей в ваше еврейское государство.

– Не в “ваше”, Зоя, а в “наше”. Все евреи – братья, – напомнила Магги. – Ты имеешь в виду программу “НОА”?

Я не знала, какую программу я имела в виду, но слово прозвучало как название межпланетного корабля из голливудских фильмов, которые прокручивали в видеосалоне, открывшемся пару лет назад в подвале третьего двора нашего дома. Я вспомнила Диснейленд, и гнев немного меня отпустил.

– Пускай будет “НОА”.

– Ноар Осе Алия, – сказала Магги на тарабарщине, но я уже знала, что такое алия – слово из “Тысячи и одной ночи”. – Молодежь делает алию, – расшифровала Магги, – то есть репатриацию... то есть молодежь едет на родину отцов... то есть праотцев.

– Да, – сказала я, – я всегда мечтала посетить родину моих праотцев. Запишите меня на “НОУ”.

– Замечательно, – просияла Магги. – Мой сыночек тоже на эту программу поступает. Я уверена, вы оба пройдете на ура.

Магги меня записала и сообщила дату экзамена. Я спросила, как готовиться к этому экзамену, на что получила ответ, что ничего не надо готовить, только принести себя и моих родителей.

– Обязательно родителей?

– Конечно обязательно! Ты же не можешь прийти на экзамен и уехать в Израиль без их согласия, Зоя Прокофьева.

Так и было. Я не могла никуда поступить без их согласия.

– Ты с ума сошла?! – кричал папа. – Я так и знал, что этим все кончится!

– Чем “этим”, Олег? – спрашивала мама. – Ничего не кончилось, все только начинается, и не надо сцен у фонтана.

– Кто задурил ребенку голову? – вопрошал папа. – Отвечайте! Ты? Или ты?

Он обвел взглядом сперва деда, а потом бабушку.

Все собравшиеся за обеденным столом потупили взоры. Папа энергично отодвинул тарелку куриного бульона и налил себе коньяк. Папа пил коньяк очень редко: в экстремальных случаях и на праздники. Сегодня был не праздник.

– Так. – Папа встал и опрокинул в себя рюмку. – Никто никуда не едет. Это ясно?

– Я еду в Израиль, – продолжила я гнуть свою линию и взгляда не потупила.

– Я спрашиваю: кто задурил тебе голову?

– Никто мне ее не дурил, – соврала я, не желая выдавать брата.

– Я задурил ей голову, – неожиданно признался Кирилл и распрямил плечи.

– Этого еще не хватало. – Папа сел. – Неужели ты ей рассказал про евреев?

– Я.

– Зачем?

– Потому что человек должен знать, откуда он родом.

– Этот человек родом из Одессы! – Папа ударил кулаком по столу. – Разве этого мало?

– Мало, – сказал Кирилл. – Я поступил в МГУ и уезжаю в Москву.

– Хорошо, – сказал папа. – Я не могу воспрепятствовать тебе угробить свою жизнь и математический гений на пасквильанство, ты уже взрослый бугай, но ребенок остается в Одессе.

– Она уже не ребенок, – возразила мама.

– Ей четырнадцать лет!

– Когда я репатрируюсь в Израиль, мне будет пятнадцать, – заметила я.

– Репатрируется она! Где ты набралась таких слов? Твоя родина здесь!

– У человека может быть несколько родин, – вдруг сказал дед. – Для меня Одесса не меньше родина, чем Херсон.

– Что ты сравниваешь Одессу с Херсоном! – возмутилась бабушка. – Ты бы еще сравнил Лос-Анджелес с Очаковым. Комильфо, золотко, зачем тебе тот Израиль? Что ты там потеряла? Там одни евреи. Езжай лучше в Америку, к тете Гале.

– Она никуда не поедет! – снова вскричал папа. – Это предательство! Измена! Отказ от семейных ценностей! Мы все выросли здесь! Нас вскормили земли таврические!

– Олег, Олег, – брезгливо скорчилась мама, – что за дешевая драма.

Папа метнул в маму страшную молнию.

– Это не драма, а цирк! Всю жизнь молчала, так молчала бы и дальше. Зачем ты ей рассказала, Лизавета? Кому это надо было? Твои безответственные родители... эти сионисты, бросившие тебя на произвол судьбы... Ты хочешь, чтобы твоя дочь уподобилась меркантильным жид...

Тут папа осекся и прикрыл рот салфеткой. Но было поздно. Кровь отлила от маминого лица, и она сама стала похожа на салфетку.

– Как ты смеешь, – сквозь зубы процедила мама. – Ты обещал никогда... ты обещал...

– Ты тоже клялась молчать, – тихо сказал папа. – Ты обещала их забыть.

– Я и забыла их. Ради тебя, Олег. Я десять лет им не писала.

– Ради меня? – еле слышно произнес папа. – Я думал, ты была комсомолкой. Я думал, ты верила в коммунистическое будущее нашей великой страны.

Мамино лицо покрылось белыми пятнами. Я никогда не видела родителей в таком состоянии. Лучше бы они кричали. Мне представилось, что после обеда они побегут в загс разводиться.

– Идиоты, – сказала бабушка, дожевав кусок котлеты. – Наша великая страна уже давно приказала долго жить в белых тапочках. Вспомнили, тоже мне, коммунистическое будущее. Ноги надо уносить. У кого еще есть ноги, которые могут бежать.

– Дорогая, – дед погладил бабушку по руке, – ты, несомненно, права, и хоть я никогда не покинул бы Одессу и тебе бы не позволил, наша внучка должна строить свое будущее там, где оно есть.

– Будущее?! – воскликнул папа, к моей радости приходя в себя. – Ты же читаешь газеты! Ты хочешь, чтобы твоя внучка жила в секторе Газа? Под угрозой для жизни? В зоне постоянной войны?

– Какой войны? – удивилась я.

– Дура, – заявил брат. – Я же тебе сказал ознакомиться с корнями. Тебя не примут на программу, если ты ничего не знаешь о той стране, куда собралась ехать.

– Там война? – спросила я, потому что, судя по Исааку из Йорка и по дону Иегуде из Толедо, евреи не умели воевать. – Кто с кем воюет?

– Твои драгоценные сионисты с палестинцами, – сказал папа. – Резня там. Похуже Афгана.

Но я не испугалась, потому что мне тут же представились крестоносцы, сарацины и куча приключений. Я даже воодушевилась, и к “назло” прибавилось желание подвига.

– Я еду в Израиль, – повторила я, пораскинув мозгами. – Я так понимаю, что все за, кроме папы.

– Все за, – подтвердил брат. – Па, кончай ломаться и корчить из себя заботливого родителя. Когда ты вообще в последний раз разговаривал с Комильфо?

В самом деле – когда?

– В школе, – признался пристыженный папа. – На уроке математики. Зоя, я плохо к тебе отношусь?

Кажется, впервые в жизни он назвал меня по имени. И посмотрел на меня с таким потерянным видом, что мне стало его жаль.

– Ты всегда предпочитал мне Кирилла, но я на тебя не сержусь, – ответила я почти честно. – Дело вообще не в вас. Просто я чахну здесь. Только в чулане мне комфортно. Какая-то я тут чужая, как гой.

Бабушка перекрестилась, что случилось с ней так же редко, как с папой – коньяк. Папа посмотрел на меня очень внимательно, будто впервые увидев. И я его будто впервые увидела. Этого бородатого крупного мужчину средних лет, с лучистыми морщинками вокруг светлых глаз. В его рыжеватых волосах проступила седина.

Странное то было ощущение, словно папа вдруг стал человеком вместо памятника самому себе.

– Зоя, – сказал папа, с не присущей ему мягкостью, – неужели ты не понимаешь? Ты же столько книг прочла. Чуждость – это фактор души. Он внутри, а не снаружи.

– Она еще ребенок, – сказала непоследовательная мама, – это очень сложно понять в таком возрасте. Я когда-то пыталась ей объяснить...

– Курочка, – прервал маму дед, сплевывая, потому что перепутал коньяк с томатным соком, – не слушай папку и мамку, они всегда любили перемудрить. На этом и спелись.

– Она читает только приключенческую литературу для юношества, – снова решил вступить за меня брат. – Там нет никакой психологии, одни скачки.

– Ты не прав, Кирилл, – возразила бабушка. – Сразу видно, что я тобой не занималась, потому что слишком много работала в то время. Эх... вернуть бы его назад. В скачках вся психология...

– Подождите, – пресек папа литературный диспут, не сводя с меня глаз. – Зоя, ты отдаешь себе отчет в своем решении?

Я смутилась.

– Нет, Зоя, ты мне скажи, раз ты взрослый человек. Ты понимаешь, что значит оставить в четырнадцатилетнем возрасте свою семью и уехать на чужбину? В чужую страну, где говорят на чужом языке, где ты одна-одинешенька, где нет бабушки, которая жарит тебе картошку, и папы, который выгораживает тебя перед коллегами, когда ты вместо Чехова опять начиталась Дюмы.

Я даже не обиделась на папу за Дюму, потому что он заставил меня серьезно задуматься над важным вопросом: что, собственно, я пыталась доказать и, главное, кому?

Но отступать было поздно, потому что ни один уважающий себя рыцарь, лишенный наследства, не возвращается назад, однажды ступив на полную приключений тропу. Во имя всех мною прочитанных книг я не могла отступить от задуманного. А также во имя Василисы, которую отправили на колбасу. Меня тоже отправят на колбасу, если я останусь здесь. Я это прекрасно понимала – с моим неумением ладить с людьми, с моей замкнутостью и неразговорчивостью мне не выжить в этом меняющемся мире, от которого даже Одессы практически не осталось. А Митя Караулов, единственный человек, с которым я находила если не общий язык, так по крайней мере общие скачки на велосипедах, все равно предпочел мне Алену Зимову. Так что да, завершила я папу, я отдаю себе отчет.

– Ладно, – сказал папа и опрокинул еще одну рюмку коньяку с таким видом, будто сидел на поминках, – хорошо. Я пойду с тобой на экзамен. В конце концов, Одесса от тебя никуда не денется. И мы все тоже. Никуда нам друг от друга не деться. Все равно ты вернешься. Нет на свете человека, который сумел бы покинуть родину насовсем. Ты уходишь, а она идет за тобой по пятам, как твоя собственная старость. Даже твои родители, Лизавета, – обернулся он к маме, – честное слово, если бы тебе довелось с ними поговорить, я уверен, они сказали бы то же самое.

– В чем проблема с ними поговорить? – нарушил брат торжественность момента. – Алё, товарищи, Совок се финн. Капут. Крышка. Будьте здоровы и счастливы. Трубку поднимите, и шалом.

- Шалом? – не поняла я.
- Мир и здрасьте. На иврите. В Израиль она собралась.

Из летописи Асседо

Глава III. Приор

Приор

Всегда думалось дюку, что когда настанет неизбежный момент истины, он сам все расскажет сыну. Усадит у очага. Нальет в рог киригассер, погладит по волосам, возьмет за руку, объяснит, и умный мальчик все поймет. Лишних слов не понадобится.

Но одно думается, а иное свершается.

Иерее нашел дюка на конюшне распластавшимся над кормилицей Виславой. Схватил крестного за плечи и резко отодрал от кормилицы.

За годы походной жизни приученный к внезапным нападениям, вскочил дюк на ноги, прикрыл чресла камизой, схватился за саблю, висевшую на крючке, но тут увидел лицо воспитанника – мрачнее полуночного утеса.

– Я требую... я требую... – задышался юноша. – Я требую сатисфакции!

– Ты опять начитался латыни?

Латынь немного успокоила дюка, и он собрался было облачаться в пурпур, но Иерее плюнул ему под ноги три раза.

– Что с тобой стряслось, мальчик? – проигнорировал встревоженный дюк смертельное оскорбление.

– Вы... вы...

– Иерее, ты болен?

– Вы лишили меня отца, корней и наследия! Вы бросили друга и соратника гнить живьем, заставив всех от него отвернуться! Вы лгали мне всю жизнь! Вы... бесчестный человек, подлец! Вы – изверг!

Кровь прилила к чеканным профилям дюка, затем отлила, затем снова захлестнула. Земля зашаталась под незыблемыми ногами, ибо настал роковой час. А дюк не приготовился. Вислава вскрикнула.

– Господи боже, сын мой! – Дюк воткнул саблю во влажную землю и опустился перед мальчиком на колени, неожиданно для самого себя. – Прости меня, грешника, во имя всех пророков, когда-либо ступавших по Земле!

– Вам нет прощения, сударь.

Иерее выхватил саблю из почвы, переломил о колено и бросил обломки к ногам дюка. Вислава снова вскрикнула и даже закрыла лицо руками.

Как был Иерее в расстегнутом жуппоне поверх шерстяной котты, в непритязательных домашних тулесах со ржавыми шпорами и в зеленых шоссах, так и вскочил на первого попавшегося коня, стегнул его во всю мочь нагайкой, вырвался за ворота и ускакал на север, забыв оседлать.

Проскакав десять лиг, понял Иерее, что конь был не кем иным, как лошадейю Василисой, принадлежавшей Гильдегарду. Раскаяние охватило юношу, но возвращаться было поздно.

Сорок лиг проскакал Иерее как в тумане. Ночь сменила день. Василиса утомилась и перешла на рысь, а затем и вовсе на шаг. Иерее хотелось пить, мочиться, есть и спать. Василисе хотелось того же. Совсем скоро под светом луны перед Иерее выросли стены Свято-Троицкого монастыря.

Постучался Иерее в ворота. Открыл брат привратник.

– Ночлега прошу, – пробормотал обессиленный Иерее.

– Кто вы, юноша?

– Иерее из Асседо, – привычно представился Иерее и тут же опомнился.

Но было поздно.

– Почему ты, Иерее из Асседо, шляешься по ночам? Знает ли твой батюшка, что тебя носит незнамо где в этот час быка?

Иерее собрался было вскакивать обратно на Василису, но брат привратник схватил его за шкуру и потащил за собой. Силен был брат привратник, долго тащил, пока не приволок к покоям приора. Постучался.

Открыл заспанный приор Евстархий. На лоб сполз ночной колпак. Борода помята, тонзура небрита. Зряч и зорок был приор Евстархий, несмотря на преклонный возраст. Сразу узнал воспитанника грозного владыки Асседо и окрестностей, а также и острова Грюневальда, что на Черном море.

– Батюшки, Иерее! – всплеснул приор руками. – Что же это, как же так?

– Образумьте его, отец мой, – потребовал брат привратник, передавая Иерее приору. – Скачет на лошади без седла посреди ночи, как какой-нибудь монгол. Совсем молодежь распоясалась.

– Однако это так, – покачал головой приор Евстархий. – Заходи, Иерее, поболтаем.

Ничего Иерее не оставалось делать, кроме как зайти. Усадил его приор на стул, налил киришвассера в рог, сунул в рот ломоть остывшего пирога с олениной и сказал: “Жуй”.

Ничего Иерее не оставалось делать, кроме как жевать. Приор смотрел на него неодобрительно и требовательно. Когда проглотил Иерее последний кусок, приор сказал: “Пей”. Хлебнул Иерее из рога, голова закружилась.

– Теперь иди мочись. – Приор указал на ширму, за которой обнаружился ночной горшок. Помочился Иерее, снова покорно сел на стул.

– И что за бредни пришли в твою светлую голову? – спросил приор, поглаживая кустистую бороду. – Почему дома не сидится?

– Нет у меня больше дома, отец мой, – промолвил Иерее и заплакал.

Приор Евстархий смотрел и молчал. Потом сказал:

– Плачь, мой мальчик, плачь.

Иерее поплакал еще. Потом немного успокоился и утер лицо рукавом жуппона.

– Стало быть, раскрылась страшная тайна, – усмехнулся приор. – Что ж, лучше поздно. Всегда говорил я дюку, что глупо он поступает, но разве кто меня услышит? Нет, дюк непреклонен. Однажды приняв решение, не изменит ему никогда, даже если и сам в нем раскаивается. Не человек – бронза. Хороший у тебя отец, но упрям, как сто чертей, да простит меня Святая Троица. Иди спать, сын мой, утро вечера мудренее.

И приор Евстархий показал на дверь в смежную келью.

– Я доскачу до Таузендвассера сегодня же! – вскричал отдохнувший Иерее. – Не препятствуйте мне, отец мой, ибо вы стоите на пути самого рока!

Расхохотался приор Евстархий – рог в его руке задрожал, расплескалось вино по белой бороде.

– Дурак ты, мальчик, если думаешь, что року есть до тебя дело, если думаешь, что отцу твоему, Фриденсрайху, проклявшему собственного сына, есть до тебя дело. Дюк Кейзегал твой отец, и только ему есть дело до тебя.

– Сеньор Асседо – предатель и лжец! Он мне не отец!

Выплеснул Иерее содержимое рога в очаг. Зашипело пламя, встревожилось, выпростало красные языки.

– Мальчик, – сказал приор Евстархий, – ничего ты не понимаешь. Ну да и что с тебя возьмешь. Разрази меня гром, если хоть один малец в шестнадцать своих зим хоть что-нибудь понимал. Ну так слушай меня сюда. Я крестил твоего отца. Я учил Фриденсрайха латыни и эллинскому. Я венчал его с Гильдеборгой Прекрасной. Я десятки раз благословлял его оружие. Ничего его никогда не волновало, кроме собственной персоны. Твой отец, Фрид Красавец, жив. Шестнадцать зим жив, с тех пор как ты впервые закричал. Он мог найти тебя, если бы

тоска породной кровинушке шевельнулась в его ледяной душе. Никто бы ему не помешал, ни соседи, ни дюк Кейзегал. Думаешь, не мечтал дюк о том, что его добрый друг и верный соратник опомнится однажды? Отрезвеет? Раскроет свое заржавевшее сердце? Мечтал, еще как мечтал! Но заперся Фрид в своей замке, обозленный на рок, и никто его с тех пор не видел. Не нужен ты ему, сынок.

– Откуда вы знаете? – воскликнул Йерее, похожий на отца своего как две капли киршвассера.

– Факты говорят сами за себя, – веско заметил приор. – Только по поступкам может человек судить человека. Искал он тебя или нет?

– Не искал.

– Ну и квод эрат демонстрандум.

– Не демонстрандум! – вскричал Йерее. – Что за люди населяют Асседо, если судят человека по одному-единственному поступку, совершенному в порыве отчаяния?

– Шестнадцать зим прошло, мальчик, – снова напомнил приор. – Не один поступок, а шестнадцать зим ежедневного выбора.

– Ничего вы не понимаете, отец мой, и не желаете понять. Он страдает. Он болен. Может быть, он не в силах... Может быть, он потерял рассудок, может быть, слуги держат его взаперти, может быть, он...

– Ну, ну, что еще ты себе навоображал?

– Он боится дюка!

Приор Евстархий снова прыснул:

– Фрид боится Кейзегала? Не смеши меня, мальчик. Я расскажу тебе о делах давно минувших дней. Вечно спорили маркграф и дюк, кто из них храбрее, удачливее и выносливее. Сказал Кейзегал, что убьет медведя голыми руками. Нашел в снегах медведя и задушил. Но Фрид завел в ловушку недавно родившую медведицу, у которой похитил медвежат, и задушил ее. Сказал Кейзегал, что прыгнет с самого высокого утеса на берегах Аквоназула. Залез на утес и прыгнул в Черное море. А Фрид, взобравшись на утес, прыгнул не в воду, а на землю. Жив остался, потому что провалился в болото. Господь его хранил. А Кейзегал вытацил. Сказал Кейзегал, что сразит константинопольцев. Убил шестерых, а Фрид – семерых. Сказал Кейзегал, что победит на турнире в Аскалоне, но не победил. Победа была за Фридом, и прекрасная Гильдеборга отдала ему свое сердце и руку. И тогда сказал Кейзегал, что засунет руки в огонь и будет держать их там, пока Фрид не закричит. Засунул руки в пламя. Но Фрид не закричал. Выдернул руки Кейзегал, когда кожа совсем сгорела. Долго я его потом лечил. Долго потом Кейзегал заново обучался фехтованию. Да так и не обрел прежних навыков. В бою с тех пор предпочитает меч. Это он так саблём размахивает, для виду и устрашения. Не Фрид боится Кейзегала, а Кейзегал боится Фрида.

Сказал приор и обмер. Нездешние глаза Йерве походили на две геенны, готовые сжечь приора Евстархия вместе с колпаком и рогом.

– Нет... нет... не может быть!

– Чем дальше в степь, тем толще сарацины, – ухнул приор. – Самое страшное, мальчик, не родителей потерять, а жизнь узнать. Такой, какая она есть. И нет у нее ответов, сколько ни спрашивай.

– Но как...

Не успел Йерее задать следующий вопрос, как затрещала дверь, обрушилась с грохотом, и в проем влетел владыка Асседо.

– Вот ты где, негодник! – вскричал дюк и ринулся к Йерее.

Сжал в объятиях, зацеловал глаза, ударил по лицу, швырнул оземь.

– Святая Троица! – заголосил приор. – Ты сломал мою дверь, Кейзегал Безрассудный! Я думал, ты навсегда излечился от этого прозвища!

– Плевать мне на дверь! – прогремел дюк и сплюнул. – Не может человек излечиться от самого себя, сколько ни бейся, дьявол вас всех побори! Вставай, щенок! Хочешь узнать своего отца? Поехали к твоему отцу! Я сам его тебе представлю, и пусть после этого меня поглотит преисподняя.

Глава 4

Экзамен

Странный был экзамен. Нам задали рисовать цветы, деревья, квадраты, треугольники, дома, людей и еду. Потом спрашивали, кто придумал велосипед и почему ночью темно. Затем нужно было написать сочинения по картинкам, на которых были нарисованы очень унылые и несчастные дети, выглядевшие так, будто родная мама от них отвернулась, а бабушек у них и в помине не было, не говоря уже о дедушках. Дальше была несложная математика и английский, а потом меня вызвали к психологу.

Я никогда прежде не встречала психологов, но всегда представляла их как пожилых дядек в круглых очках и с козлиными бородами.

Но психологом оказалась тетенька. Точнее, женщина. Даже почти девушка. Она была очень шуплая, большеглазая, без очков, с распущенными волнистыми волосами. И сильно беременная. Она мне сразу понравилась, потому что ее глаза были такие грустные, словно жалели всех на свете. Я подумала, что она стала психологом, потому что с такими глазами ей больше некуда было податься. Будь она не психологом, а кем-то другим, ей все равно все бы жаловались на жизнь. Было бы замечательно, если бы ее звали Ребеккой.

Когда я вошла в кабинет, психолог встала из-за стола и сама проводила меня к стулу, как будто я была официальным послом.

– Проходи, пожалуйста. Меня зовут Маша. А тебя?

Я уже знала, что евреи не любят официоза, поэтому не удивилась.

– Я Зоя. Но все зовут меня Комильфо.

– А как ты предпочитаешь, чтобы тебя называли?

Я задумалась. Никогда прежде мне не задавали такой вопрос.

– Как вам удобно.

– Какое это имеет значение, что удобно мне? Речь ведь пойдет о тебе. Как мне тебя называть?

– Ребеккой.

Психолог Маша ласково улыбнулась:

– Садись, Ребекка, мы сейчас с тобой часок поговорим, и ты мне всё-всё расскажешь, правда?

– Ага.

К моему удивлению, психолог Маша села не за стол, где сидела до моего прихода, а на стул напротив меня. Как будто мы с ней собрались пить чай.

– Хочешь чаю? – спросила психолог Маша.

– Терпеть не могу чай, – ответила я.

– А что ты любишь пить?

– Виноградный сок.

– О! – сказала психолог Маша. – Нам как раз занесли соки. И она налила сок в стаканы.

– Расскажи мне, Ребекка, какое у тебя первое детское воспоминание?

Я поперхнулась соком. Какое отношение имели воспоминания детства к моему намерению уехать в Израиль? Но отвечать было необходимо. Я пораскинула мозгами.

– Я помню, как на Ланжероне мой дед ведет меня за руку от берега, доводит до глубины, так, что я стою уже на цыпочках, чтобы не захлебнуться, а потом говорит: “Ляг на воду”. Я легла, он меня поддерживал, а потом я забила руками и ногами и поплыла сама.

– Так, так... – сказала психолог Маша. – Это твое первое воспоминание?

– Вроде да.

– Расскажи еще об одном.

– Ну... я помню, как я любила качаться на цепях вокруг памятника графу Воронцову. Туда меня тоже водил мой дед. А за памятником же есть луна-парк, на Соборной площади... Вы одесситка?

Глаза психолога Маши стали еще грустнее.

– Рассказывай, рассказывай, – подбодрила она меня и печально улыбнулась.

– Ну... в общем... дед мне разрешал кататься на “лодочках”, сколько я хочу. Он специально брал с собой кучу пятикопеечных монет. “Лодочки” – это такие качели. Еще там, в луна-парке, был бронзовый олень. Очень красивый, и как будто он стремительно куда-то мчится. Я любила на него садиться и делать вид, что я Герда и скачу по Лапландии к Каю... Но Воронцова я все равно люблю меньше Дюка. Он, конечно, хороший – высокий такой и большой, знатный, и Пушкина знал, но все равно не Дюк. Пушкина я тоже люблю. Особенно его фонтан. Но он только бьет. А Дюк во весь рост. Пушкин – это как двоюродный дядя, а Дюк...

– Что для тебя Дюк? – спросила психолог Маша.

– Как папа, – вырвалось у меня, и я сама удивилась.

Но психолог Маша только понимающе кивнула:

– Расскажи про своего папу.

– Папа у меня хороший мужик. Это так мама говорит.

– А ты что говоришь?

– Я тоже так говорю. Мой папа – учитель математики и завуч. Я учусь в той же школе, где он преподает. Это не подарок – быть одновременно дочкой и ученицей. Но в этом есть и плюсы. Папа у меня строгий, но внутри добрый. Он больше любит моего брата, чем меня, потому что брат такой же умный, как он, а я...

– Ты не считаешь себя умной?

– Да нет, не то чтобы не считаю...

Я опять задумалась. Считаю ли я себя умной?

– Сложные вопросы, да? – улыбнулась психолог Маша.

Я пожала плечами.

– Значит, мсье Дюк, – сказала психолог Маша. – Тебе больше нравятся памятники, чем живые люди?

Теперь мне стало грустно.

Я бы это иначе сформулировала.

– Как бы ты это сформулировала? – спросила психолог Маша, словно прочитав мою мысль.

– Я бы сказала, что с памятниками легче общаться, чем с людьми.

– Почему?

– Люди – они такие... ничего не понимают.

– А памятники понимают?

– Да, конечно. Причем без слов.

– Ты не любишь слова?

Тут я впервые сформулировала для себя разницу.

– Я очень люблю слова, но только когда они не вслух, а про себя, написанные.

– Я понимаю, – сказала психолог Маша. – Одни и те же слова могут быть разными. Каждый раз они открываются по-новому, каждый раз неожиданно. Как лица людей.

Откуда она знала про лица людей? Я ей ничего не рассказала про дедову агнозию.

– Я имею в виду, – объяснила психолог Маша, – что мы не всегда умеем высказать то, что у нас на уме. Как не всегда умеем изобразить лицом то, что чувствуем на самом деле. Но у памятников всегда одно и то же лицо. В этом есть нечто... успокаивающее, не так ли? Но разве это не грустно – всегда видеть одно и то же не изменяющееся никогда лицо?

Я посмотрела на лицо психолога Маши, и оно больше не было грустным. Вовсе даже наоборот – лицо как будто бы светилось радостью.

– Ну, наверное, я нелюдима, – заключила я.

– У тебя есть друзья?

– Есть. То есть нет. У меня много знакомых, но с моей лучшей подругой из детского сада я поссорилась лет пять назад, потому что она сказала, что я не леди. А с Митей я дружила, но он полюбил Алену, и мы больше не друзья.

– Полюбил? Они встречаются?

– Не знаю... – призналась я. – Так мне показалось.

– Показалось... – протянула психолог Маша и погладила свой беременный живот. – А тебе не кажется, что тебе будет сложно жить в интернате, если тебе нелегко заводить друзей?

– В интернате?! – воскликнула я, немедленно представив себе сиротский дом из “Джен Эйр”, где детей подвергали порке и публичному осмеянию на стуле. – В каком таком интернате?

– Подростки, которые отправляются в Израиль по нашей программе, живут в интернатах. Но это плохое слово, я понимаю. Скажем, что это такие общежития, в молодежных деревнях.

– В деревнях?!

Интернат в деревне это гораздо хуже, чем интернат в городе. Должно быть, там беспризорников еще и заставляют доить коров, чистить за свиньями и пасти гусей. После порки. У меня моментально пропало всяческое желание ехать в Израиль.

– Знаешь что, Ребекка, – сказала психолог Маша с заметным беспокойством. – Я чувствую, что ты еще не окончательно созрела для самостоятельной жизни.

Вот так проваливают интервью с психологом. Этого я допустить не могла. Ладно завалить математику, но какого-то психолога?

– Вы ошибаетесь, Мария! – вскочила я со стула. – Вы ничего обо мне не знаете! Я очень самостоятельный человек и знаю все подворотни Жовтневого района лучше любого бомжа! Я с девяти лет сама хожу в школу и на Бульвар! Три раза в год я езжу в спортивные лагеря на Лимане и ни разу не позвонила домой, хоть я эти сборы ненавижу! Я выдерживаю на своих плечах двоих девчонок, потому что я лучший столп в акробатической сборной, и в этом году прохожу в кандидаты! Я знаю английский, немного немецкого, немного французского, немного украинского и много чего про Средневековье! Вам не найти лучшего еврея, чем я! Может быть, я плохо учусь, но много читаю, и у меня очень богатое воображение! Я могу выдумать все что угодно!

– Да, это я вижу, – вздохнула Маша и улыбнулась. – Очень ты даже комильфо, Ребекка-Зоя. Спасибо тебе за собеседование, мне было очень приятно с тобой познакомиться.

Психолог Маша тоже поднялась со стула, и тут ее лицо запечаталось. Глаза больше не были ни грустными, ни веселыми, ни встревоженными, а пустыми, ничего не выражавшими. И как будто она стала старше лет на двадцать. У меня похолодела спина. Я посмотрела на ее живот, но он по-прежнему был беременным. Это меня немного успокоило.

– Желаю тебе удачи, – произнесла постаревшая психолог Маша бесцветным голосом.

– Вы меня примете на программу “НОА”? – в отчаянии спросила я.

– Желаю тебе удачи, – повторила психолог Маша и выдавила из себя механическую улыбку. – Ты замечательная девочка.

Глава 5

Папа

Только некоторое время спустя я узнаю, как боролась психолог Маша с единогласным решением всей остальной комиссии принять меня на программу “НОА”, но тщетно.

Видимо, комиссии понравились мои рассказы про унылых детей, мои общие знания о том, кто придумал, что земля вертится; математика, английский и треугольники с деревьями. Комиссия заключила, что я подаю большие надежды. Комиссия приняла решение.

На роковой звонок ответила бабушка.

– Комильфо! – закричала она из кухни. – А ну, вылезай из чулана! Звонят из еврейского этого самого. Спрашивают какую-то Ребекку.

Слово “звонят” бабушка произносила с ударением на букву “о”.

– Але. – Я взяла трубку.

– Ребекка Зоя Прокофьева? – сказал приятный мужской голос.

Я уже давно поняла, что у всех евреев очень приятные голоса.

– Ага, – ответила я с колотящимся сердцем.

– С вами имеет честь говорить Антон Заславский, декан программы “НОА”.

– Угу, – сказала я.

– С радостью сообщаю вам, что ваша кандидатура рассмотрена положительно.

– Что это значит? – не поверила я своим ушам.

– Это значит, что в сентябре вы вольны приступить к обучению в десятом классе израильской школы-интерната. – Дальше последовала тарабарщина, которую декан Антон Заславский расшифровал как Деревня Сионистских Пионеров.

– Серьезно? – Я все еще не могла поверить. – Но психолог сказала...

– Какая психолог?

– Маша. Такая... беременная.

– А, да, да, не беспокойтесь, она уже в декрете – родила сына.

– Я очень рада...

– Мы все очень рады. И за вас мы тоже очень рады. Готовьте документы, визу, справки, прививки, проходите медосмотр и консульскую проверку, и мы пошлем вам билет.

– А куда?

– Что куда? В Израиль.

– Я имею в виду, где находится эта деревня пионеров?

– Она находится в городе Иерусалиме, столице Израиля, – улыбнулся голос из трубки. – Вам повезло: вы будете учиться в пупе мира.

– Я буду учиться в пупе мира! – закричала я папе, подпрыгивая от счастья, когда мы встретились под памятником Трагедии у Оперы.

Пока ждала папу, разглядывала своего любимого персонажа в этой скульптурной композиции, где все были опечалены еще больше, чем дети на картинках на экзамене. Поверженный человек, которого затоптали все остальные участники трагедии, с распростертой на пьедестале рукой лежал прямо надо мной. Я всегда очень ему сочувствовала, потому что какие-то варвары постоянно отламывали ему пальцы, и он был не только несчастным по жанровому призванию, но его еще и одесское быдло покалечило. Его столько же раз реставрировали, как и сам оперный театр, грозивший провалиться в катакомбы, но пользы от этого не было никакой: чинили, а потом опять ломали.

– Куда пойдем: на Колоннаду или в Пале-Рояль? – спросил папа, появившийся со стороны Ласточкина.

Мы направились в Пале-Рояль, который был ближе.

– Меня приняли, ты представляешь! Меня приняли!

– Кто бы сомневался, – буркнул папа и сел на скамейку напротив маленькой бронзовой нимфы с чашей, которая в причудливом изгибе склонилась над миниатюрным гротиком и поливала водой его уступы.

Пале-Рояль я обожала. Именно там папа впервые снял боковые колеса с моего первого велосипеда “Зайка-3”. Папа бежал следом за мной, поддерживал, потом отпустил, руль елозил, но в итоге я выровнялась и поехала. Сама доехала до Трагедии, а потом даже и до Комедии, которая чуть поодаль. Давно я об этом не вспоминала. Все дед да дед. Папа будто стерся из моих детских воспоминаний. До чего странно.

В Пале-Рояле было тихо, потому что он был замкнут домами со всех сторон. Никто не кричал и не шумел, и даже развешанное за окнами белье не шелестело, потому что здесь всегда было безветренно.

– Ты не сомневался, что меня примут? – удивилась я.

– Нет, – сказал папа. – Разве что тебя бы не приняли из-за меня.

– Почему?! – обиделась я на папу за папу.

– Потому что я всячески пытался испортить тебе картину личности на моем интервью с психологом.

– Ты мне не рассказывал, что и тебя собеседовали. Ты тоже был у психолога Маши?

– Нет, я был у психолога Саши.

– Это тетя?

– Дядя. Такой... с козлиной бородкой и мелкими очками.

– И что ты ему про меня наговорил?

– Какая разница, раз тебя все равно приняли. Видно, этот Саша – никудышный психолог. Да и Маша тоже, судя по всему, не ахти. Дурацкая у них профессия: сидят, уши развесили и угадают. Никакого полета мысли. – Папа посмотрел на нимфу. – Тебе известно, Комильфо, что в Израиле нет памятников?

– Как?! – воскликнула я, не веря своим ушам.

Мне уже давно пора было усвоить, что евреи – инопланетяне, живущие в каком-то фантастическом мире, в котором действуют только им одним известные правила, для нормальных людей непонятные.

– А вот так. Твои евреи считают памятники святотатством. “Не сотвори себе кумира”. Закон у них такой. Ну, в общем, они правы. Только как ты там будешь жить без своего Дюка?

Тут я опять удивилась, потому что впервые подумала о том, сколько всего мне придется оставить позади. А еще потому, что и представить не могла, будто папа знает о моем увлечении Дюком. Я немного смутилась, но открытие было не лишено приятности.

– Я возьму Дюка с собой, – решительно сказала я.

– Это как?

– А вот так.

– Жан-Арман дю Плесси де Ришелье не еврей, а француз, к тому же герцог. У него нет права на репатриацию в Израиль.

– Сам ты Жан-Арман. Жан-Арман это который в мушкетерах. А наш Дюк – Арман-Эммануил, – блеснула я вундеркиндством. – Я на нем пожениюсь, и тогда он получит это право.

– Господи, Комильфо, ты же взрослый человек! А в голове у тебя мысли пятилетней девочки. “Пожениюсь!” Как ты там будешь жить одна, горе ты мое?

В этот момент папа был очень похож на бабушку. Я хихикнула.

– Ничего смешного в этом нет. Я идиот, что отпускаю тебя одну неизвестно куда.

– Ничего ты не идиот.

– Очень даже да.

Папа с глубокой печалью посмотрел на меня.

– Почему же ты меня отпускаешь?

Спросила и миг спустя, к собственному недоумению, поняла, что больше всего на свете мне хотелось, чтобы, несмотря на мое “назло” и мечты о приключениях, папа бы меня никуда не отпустил.

А может быть, я поняла это намного позже. Трудно сказать.

– Я тебя отпускаю, – невесело улыбнулся папа, – по той же причине, по которой твои бабушка и дедушка – те, другие, которые мамины родители, – позволили маме остаться в Одессе. А ей было семнадцать лет. Они могли настоять, если бы захотели, и увезти ее с собой, вопреки ее желанию. Понимаешь?

– Нет, – призналась я и немножечко задрожала, хоть в Пале-Рояле никогда не бывало ветра.

Папа меня приобнял и потрепал по голове, как будто мне в самом деле было пять лет.

– Не понимаешь... Видишь ли, взрослый человек Зоя Олеговна Прокофьева по папе, Трахтман по маме, если родители будут стоять на пути своих детей, дети так и будут всю жизнь жить с родителями. Как я со своими. – Папа вздохнул.

И я поняла, что чем ближе был тот Израиль, тем дальше становилась от меня моя собственная семья, о которой я совершенно, абсолютно, вообще ничегошеньки не знала.

– Па, ты что, жалеешь о том, что всю жизнь живешь с бабушкой и дедом? Они же нас воспитали!

– Вот именно, – вздохнул папа еще тяжелее.

– Что “именно”?

– То, что все сложно, Зоя, и запутанно. Жизнь – это тебе не Дюма.

– Что ты привязался ко мне со своим Дюма? Я вообще-то предпочитаю Диккенса и сестер Бронте. Кроме того, у Дюма тоже все сложно и запутанно.

– Да ты шо! – улыбнулся папа и закурил. – Я тоже когда-то думал, что Атос неправ, и мечтал спасти миледи от казни.

Я сильно оживилась и забыла про пуп мира.

– Серьезно?

– Очень серьезно. Ты что, думала, я с пяти лет тетрадки проверяю и уравнения на доске решаю? Знаешь что, Комильфо: чем старше ты будешь становиться, тем меньше будешь понимать. Так что привыкай.

Я пропустила мимо ушей последние папины фразы, поскольку вопрос правоты Атоса не давал мне покоя вот уже пять лет.

– Кто же прав в истории с миледи?

– А ты как думаешь?

– Понятия не имею. С одной стороны, некрасиво убивать женщину всей компанией, но с другой стороны, она была редкостной гадиной.

– А с третьей стороны, гадиной ее сделали обстоятельства. Так что, Комильфо, ни при каких обстоятельствах не становись редкостной гадиной, и вопросов сразу станет меньше. Простая математика.

– Папа, – спросила я, – что я буду делать в том Израиле, если памятники мне нравятся больше, чем люди?

– Оживлять памятники, – ответил папа. – И узнавать людей. Вставай, Зоя Олеговна, пойдем прогуляемся до Грифона через академика Глушко.

– Фу! Я его ненавижу!

– Ничего страшного, его совсем скоро снесут, попомни мои слова.

И мы пошли с папой в Уголок старой Одессы. По Карла Маркса – Екатерининской сновали люди, тянулась очередь в гастроном, в витрине булочной было пусто, но все равно из две-

рей пахло бубликами. Нафуфлыженные женщины выходили из парикмахерской. Мы поплевались на Потемкинцев, подмигнули Дюку, прошлись по Бульвару до Глушко и не удостоили его своим вниманием. Потом постояли немного на Колоннаде, понаблюдали за подъемными кранами и большими лайнерами на рейде. Спокойное синее море покачивалось под спокойным безоблачным небом. Чайки, покрикивая, кружились над катерами. Мы замерли вместе с кучей туристов аккуратно посередине Тещинового моста, и в который раз ухнуло сердце, когда мост зашатался. А в укромном тенистом уголке с высокой беседкой, мостиком над ничем и мраморным памятником какой-то женщине обретался прекрасный черный Грифон. Я его погладила по зубам и по когтям, на счастье, и, сама того не зная, попрощалась.

– Зоя, – сказал папа, облокотившись об основание беседки, – все будет комильфо. Вот увидишь.

И закурил сигарету.

Больше я никогда не гуляла с папой по Одессе.

Глава 6

Цель

– Вы с какой целью? – спросила на чистом русском языке пограничница.

– Она с целью образовательной программы “НОА”, – ответил в окошко Антон Заславский, который встречал нас в аэропорту. – Как и те три молодых человека, которые за ней.

Оказалось, что в Израиле намного шумнее, чем в Одессе. Такого скопища народа, как в аэропорту Бен-Гурион, я никогда прежде не встречала. Тысяча баулов, чемоданов, сумок, полосатых торб и тележек загрохотали все пространство, а на них лежали головы, ноги и руки. Все без исключения говорили на русском языке, более или менее чистом, и можно было подумать, что в Израиль внезапно хлынул весь бывший Советский Союз и все его окрестности. Еще можно было подумать, что я никуда из Одессы не уезжала.

Увидев такое количество людей в одном месте, я опять запаниковала, хоть в самолете успела немного успокоиться. Благодаря Ире.

С Ирой мы познакомились в очереди в самолетный туалет. Она со мной заговорила, спросив, куда я направляюсь, а узнав куда, прогнала с места рядом с собой тетеньку средних лет, соврав ей, что мы сестры и поэтому должны сидеть вместе. Тетенька беспрекословно пересела на мое место, так что я всю дорогу летела возле Иры.

Ира направлялась в Израиль с иной целью, чем я, то есть на спор. Ира всегда знала, что она еврейка, однако поспорила со своей школьной компанией на сто долларов, что десять лет спустя вернется в Одессу на шестисотом “мерседесе”.

Я сказала Ире, что мой брат утверждает, что в Одессу из Израиля на машине невозможно добраться, потому что по дороге враги, но Ира была старше меня на год и не восприняла мои слова всерьез. На это я заметила, что мой брат старше ее на два года, однако Ира только фыркнула, потому что ее парень был старше ее на пять. Я сильно удивилась и замолчала.

Ира оказалась очень разговорчивой и к тому времени, когда разносили обед, успела рассказать, что уже побывала со своим парнем на траходроме и было улетно. К своему стыду, я с трудом представляла себе, что такое траходром и как из него вылетают, но выяснять постеснялась.

Ира быстро и много говорила, и я впервые узнала много странных слов и фраз, таких как “в натуре”, “галимое”, “хренотень”, “движняк”, “ништяк”, “замутить”, “бухло”, “милипиз-дрическое”, “кораблики” какие-то загадочные и “попустишь немедленно, Комильфо, какое у тебя прикольное погоняло!”.

Надо признаться, что до встречи с Ирой я и понятия не имела, что учусь... то есть училась в невшибенно мажорной школе, в которую допускаются только дети примазанных чуваков и чувих, у которых капуста зашибись или протекшей. Следовало также признать, что я очень давно не бывала во дворе. Целую, можно сказать, жизнь.

В общем, Ира сразила меня наповал, сказав, что я не от мира сего, и, должно быть, меня растили в кадке в грядке и поливали шампанским, и как вообще реально, что на спортивных сборах на Лимане я никогда не курила шмаль.

– Я читала книги, – сказала я.

– Ты че, больная? – сделала Ира круглые глаза. – У тебя дауна?

– Да нет вроде.

– Ты точно в Одессе живешь?

– Точно.

– Где именно в той Одессе ты живешь?

– Жила, – поправила я ее. – На площади Потемкинцев.

– А... – протянула Ира. – Ну так шо с тебя взять, золотая, блин, молодежь. Ты никогда не тусила на Котовского?

– Не тусила, – призналась я.

– А на Черемушках зависала?

– Не зависала.

– Да ну ты гонишь!

– Не гоню. Меня родители не отпускали. Да и я сама не особо стремилась.

– Не, ну ваще. Как тебя приняли на “НОУ”? Стремная ты какая-то.

– Я не знаю.

И это было истинной правдой.

Ира так развлекала меня весь полет, заставив забыть о тревогах и ужасах, что в качестве благодарности я отдала ей свою жестянку с кока-колой, которую подала улыбающаяся во весь рот стюардесса.

– Смачная пепсуха, – сказала Ира и шмыгнула курносый носом. – Жаль, нельзя курнуть. Может, я в туалете? Думаешь, спалят?

– Думаю, спалят, – изобразила я знание жизни. – Будет большой кипиш и мало ништяка.

Я очень надеялась, что Ира попадет в ту же школу, что и я, но выяснилось, что Иру определили в какой-то колхоз на севере страны. Да она была и не против, потому что ее тетя живет рядом с этим колхозом, в городе, который называется Кирять-Шмонать. Я расстроилась, и беспокойство снова во мне всколыхнулось, но Ира меня подбодрила:

– Не ссы, деваха. Главное, с ходу найди самого крутого и навороченного пацана, и все будет путем.

– Как мне его найти? – спросила я, в надежде на откровение.

– Ну, ты осмотришься кругом, как только приземлишься в своей деревне, и строй глазки тому, вокруг которого все происходит.

– Что происходит?

– Весь движняк.

– Ясно, – вздохнула я.

По трапу Ира бежала впереди всех, расталкивая локтями пассажиров и не выказывая ни малейших признаков волнения, как будто каждый день летала в Израиль. Я покинула самолет последней, втайне от самой себя надеясь, что меня там забудут и вернут назад.

Но улыбчивая стюардесса на непреклонном английском недвусмысленно сказала мне: “Белкам ту Тель-Авив”, и я очутилась в бане.

Жаркий и влажный воздух, как из выхлопной трубы какого-нибудь цеха, упал на мою голову. Очень низкое и очень яркое солнце очутилось сверху, а снизу появилась плавящаяся, раскаленная земля.

Я застыла на месте, несколько задохнувшись, но потом заметила мигающую вдалеке салатовую Ирину мини-юбку, и поплелась следом за ней, волоча рюкзак.

Вот тогда нас и встретил Антон Заславский, на макушке которого был приклепнут маленький разноцветный шерстяной кружок, который придавал Антону вид францисканского монаха.

Выяснилось, что нас из Одессы четверо, а еще двадцать семь подростков уже ожидают в автобусе, поэтому живее, живее, добро пожаловать, но срочно нужно развозить нас по школам, водитель и так прождал три часа, вечно самолеты из Одессы опаздывают, так что пошевеливайтесь, дорогие друзья, имею честь видеть вас в Израиле.

Мы понеслись куда-то, огибая баулы, чемоданы и маленьких детей в колясках, а я все старалась не выпустить из виду пестрый кружок на тонзуре Антона Заславского, который то и дело терялся среди других голов, на некоторых из коих размещались точно такие же блямбы. Должно быть, в Израиле стеснялись лысин.

Когда мы обрели багаж, нас запихнули в огромный автобус, в котором было на удивление прохладно.

Я шла по проходу, оглядывая перепуганные, воодушевленные, возбужденные, несчастные и счастливые лица моих сверстников, но все они казались мне одной и той же враждебной физиономией. Холод и мрак сковали мою душу.

Я заняла предпоследнее место в конце автобуса и все надеялась, что Ира сядет рядом, но она под села к светловолосому мальчику на сиденье передо мной. Мальчик был в наушниках и вертел в руках плеер. Ира перестала обращать на меня внимание. Никто другой ко мне тоже не подсел.

Автобус тронулся, Антон Заславский взял микрофон и заявил:

– Дорогие друзья, рад вас приветствовать. Добро пожаловать в Израиль и на программу “НОА”. Сегодня начинается ваша новая жизнь и прекрасный путь от терний к звездам. Я готов ответить на любые ваши вопросы.

– Когда будут кормить? – крикнул кто-то.

– Мы голодные, три часа не жрали! – подхватил другой.

– Кого первого высадят? – спросила толстая девочка слева от меня.

– Сколько времени ехать до Герцлии?

– А до Хайфы?

– А до Ашкелона?

– Когда можно будет позвонить маме?

– Вы наш вожатый?

Мне стало жаль Антона Заславского, потому что я представила папу, растерзанного кучей учеников в культпоходе в Краеведческий музей.

– Спасибо вам, Антон! – закричала я что есть мочи.

Некоторые головы повернулись ко мне, и я прочла на лицах недоумение.

– Не за что, – сказал Антон Заславский в микрофон. – Сохраняйте спокойствие. Все будут накормлены, доведены, позвоняты и уложены в постели. Через две минуты я раздам вам сэндвичи с пастромой. Кто-нибудь не ест мясо?

Никто не ответил.

– Я не ем мясо, – тихо сказала я.

Головы опять повернулись ко мне.

– Кто это тут у нас мясо не ест? – недобро спросил Антон.

– Я, – протянула я руку.

– Девочка из Одессы? Ты, что ли?

– Я, – повторила я.

– Вечно в той вашей Одессе все с ног на голову. Ладно, будешь есть сыр.

Но было поздно. Теперь весь автобус знал, что я девочка из Одессы, которая ест сыр.

– Задротка, – сказала Ира.

Мальчик в наушниках заржал.

Глава 7

Гранат

Я отвернулась к окну и прижалась к стеклу носом. Еврейские земли не были похожи ни на что.

Еврейские земли обволакивала песочная дымка, немного сглаживающая палящее солнце, раскаленным диском висевшее в небе, и все вокруг было маленьким, приземистым и светлым.

По бокам трассы, гладкой как лед и расчерченной белыми и желтыми линиями, мелькали равнины с высохшей желтой травой. Куцые кустики. А еще пальмы, в точности как на моей гавайской футболке, которую я оставила дома. Они удивили меня больше всего и даже несколько улучшили мое настроение.

Затем автобус въехал в какой-то городишко с невпечатляющими квадратными домами, которые стояли на сваях, как на курьих ножках. На многих окнах были опущенные уродливые пластмассовые жалюзи, и я подумала, что у еврейских архитекторов туго с воображением, и поняла, почему в Израиле нет памятников.

Мы проехали по главной улице городишка, и я увидела, что витрины магазинов под разноцветными вывесками с незнакомыми иероглифами были полны неопознанных товаров. В киоске на углу несколько смуглых людей покупали нечто похожее на вертящийся на штыке перевернутый конус. Маленький мальчик лизал эскимо фиолетового цвета. Девочка рядом с ним высасывала жидкость из пластикового мешочка. Прохожие в основном были одеты в пижамы или в потрепанное нижнее белье и обуты в шлепанцы. Ни одна женщина не ходила на каблуках. Мне показалось, что я попала в раскрашенный кислотными красками фантастический фильм.

В отличие от трассы, город был не желтым, а зеленым и очень чистым. Кругом цвели незнакомые деревья, кусты и аккуратно подстриженные изгороди перед домами. На изгородях алели и лиловели огромные искусственные цветы. На одном дереве, к своему удивлению, я увидела гигантские мандарины, которые почему-то никто не срывал. Создавалось впечатление, что все кругом было не настоящим, а декоративным, как подделка жизни. Должно быть, мандарины тоже были пластмассовые, поэтому на них никто не зарился.

Перед автобусом сами собой открылись железные ворота, мы оказались на большой огороженной территории и остановились у сарая. Там стоял молодой человек в красной кепке и в обрезанных у колен джинсах, из-под которых свисала белая бахрома. Рядом с ним разгуливал павлин.

Антон Заславский объявил, что мы приехали в интернат, название которого я не запомнила. Затем назвал имена тех участников программы, которые здесь останутся жить, а всем остальным разрешил выйти и размяться в течение десяти минут, но только не курить.

Не успел он договорить, как все вылетели из автобуса и достали спички и пачки сигарет. Те, кого назвал Антон, полезли вытаскивать из багажного отделения свои чемоданы и с растерянным видом поплелись к сараю. На зубах хрустел песок.

– Всем здорово! Я ваш мадрих, Толик, – поприветствовала Кепка остающихся.

Я все ждала, когда павлин раскроет хвост, но он вовсе не собирался так поступать, а принялся равнодушно клевать землю.

– Что такое “мадрих”? – спросил противный мальчик в наушниках, а Ира посмотрела на него с глубоким разочарованием и выпустила кольцо дыма в его затылок.

– Вожатый, – объяснил Толик. – Или воспитатель. Заместитель ваших пап на земле обетованной. Добро пожаловать в Израиль.

Дальше я слушать не стала и удалилась к дереву со спелыми гранатами, которые тоже никто срывать не собирался.

Поколебавшись, я все же сорвала гранат и принялась внимательно его рассматривать. В воздухе пахло стиркой.

– Ты в порядке, девочка из Одессы? – спросил Антон Заславский, неожиданно возникший за моей спиной.

– Ну да, – буркнула я. – Почему нет?

Антон многозначительно оглянулся, и я увидела, что все пассажиры автобуса разбились на группки или пары и только я стою одна под деревом.

– Ничего, ничего, – решил успокоить меня Антон. – В Иерусалим скоро прибудет еще одна партия из Одессы. Может быть, ты найдешь среди них друзей.

– Я приехала сюда не ради друзей, – заверила я Антона.

– А зачем ты сюда приехала?

– Чтобы учиться, – ответила я, потому что не хотела рассказывать про назло и приключения и о том, что уже раз пять, если не больше, успела пожалеть о приезде.

– Кем ты хочешь стать, когда будешь взрослой? – спросил Антон.

– Балериной, – ответила я.

– Ну, тогда тебе тем более подойдет Деревня Сионистских Пионеров. Они сильны в танцах.

– Это хорошо, – сказала я, вертя в руках гранат.

– Давай его сюда, – потребовал Антон.

Я испугалась, что он сейчас станет ругать меня за хищение имущества этой школы, но вместо этого Антон разломал плод на две части, понюхал, довольно улыбнулся и вручил их мне. Пальцы испачкались рубиновым соком.

– Ешь, – сказал Антон. – На одном сыре долго не продержишься. Это римон.

– Римон? – подивилась я французскому слову.

– Главный еврейский плод, – объяснил Антон. – У него шестьсот тринадцать зерен. Ровно столько, сколько заповедей.

– Ага, – сказала я, вспомнив единственную известную мне заповедь. – Не сотворять памятников.

– Или построить храм, – улыбнулся Антон.

– Вы будете моим мадрихом? – с надеждой спросила я.

– Нет, – покачал головой Антон, – но в Деревне ты будешь в надежных руках, даю слово.

Я вздохнула.

– Ну да, страшно, аж жуть. – Антон тоже вздохнул. – Но это нормально, привыкай. Дальше будет еще страшнее, затем совсем кошмар, а потом ты не захочешь возвращаться домой.

– Не может быть, – не поверила я. – Вы просто хотите меня успокоить.

Антон лишь пожал плечами:

– Жуи свой римон.

И пошел отбирать сигареты у группы курящих.

Через несколько минут он сказал: “По коням”, и все снова забрались в автобус.

Ехали мы долго и часто останавливались в таких же городках и таких же школах, где незнакомые люди представлялись мадрихами, а автобус пустел. В одной из школ Иру и толстую девочку посадили в белую машину и увезли на север. Ира даже не помахала мне на прощание.

Я перестала обращать внимание на происходящее, потому что считала зерна римона и бросала их в пакет, оставшийся от бутерброда с сыром. Я насчитала пятьсот восемьдесят восемь косточек.

Когда все косточки были пересчитаны, я стала вспоминать Одессу, которая казалась настолько недостижимой, как будто находилась в другом измерении.

Я вспомнила, как прощалась с мамой, папой и братом в аэропорту. Как мама суетливо занималась документами, таможей и багажом, чтобы скрыть глаза на мокром месте; как папа их вовсе не скрывал, а брат слишком сильно хлопал меня по плечу и говорил издевательски: “Как приземлишься, сразу падай на землю обетованную и лобызай ее взасос”.

Я вспомнила, как прощалась с бабушкой и дедом у подъезда, когда приехало такси. Бабушка крепко прижала меня к своей массивной груди и сказала: “Эх ты, горе мое, на кого ты нас покидаешь?” А дед сказал: “Ничего, ничего, не на Берлин идет”.

Я вспомнила, как ходила на Бульвар прощаться с Дюком. Прикоснулась к ядру, впечатанному в угол пьедестала, но оно обожгло мне пальцы. Я побежала вниз и сломя голову мчалась по Потемкинской лестнице, перескакивая через ступени, не решаясь взглянуть в лицо Дюка. Остановилась только на Морвокзале. Как раз объявляли “Ливерпуль”. Я нашла потрепанный билет в кармане ветровки, забежала на родной катер и долго смотрела на зеленую воду. У меня было излюбленное упражнение – останавливать взгляд и держать его застывшим, несмотря на непрерывное движение волн, заставлявшее двигаться и глаза. В этот раз взгляд заморозить не удалось.

Билета назад у меня не было, поэтому обратно я шла пешком через Ланжерон и парк Шевченко. Постояла у белых шаров у входа на пляж, у пронзающего небо шпиля Неизвестного Матроса, где все еще несли почетный караул почетные школьники. Пламя Вечного огня колебалось в ветреном воздухе. Потом я уселась на пушку и смотрела на живописные останки Хаджибея, морской крепости, в который раз представляя себе разрушенный великим побоищем средневековый замок.

Я шла по Пушкинской и по Ленина – Ришельевской, задрал голову, как в последний раз. И как в первый раз причудливые лепнины, витые колонны, элегантные вензеля и гербы на стенах зданий, могучие атланты, изящные кариатиды, суровые бородатые барельефы заслуженных жителей города складывались в мою картину мира. Дело в том, что если вы родились в таком городе, как Одесса, вашим глазам навеки суждено глядеть вверх, а душе – стремиться к крышам, над которыми летают чайки. И вы постоянно пребываете в не-здесь.

Со своим классом я так и не попрощалась. Мама до сих пор считала, что о таких вещах вслух не говорят, и, несмотря на насмешки брата и протесты папы, настояла на том, чтобы я никому не рассказывала о том, что уезжаю. Пусть в начале учебного года, когда я уже буду далеко, папа расскажет коллегам и ученикам, что его дочь поступила на элитную заграничную программу. А где именно – не их дело.

Так что на последнем уроке я пожелала всем хорошего лета, а не хорошей жизни и на вечеринку, посвященную окончанию девятого класса, которую организовывал Андрюша Языков, не пошла, хоть и сидела с ним за одной партой всю свою сознательную жизнь и даже была в него однажды влюблена.

Ведь меня мало что связывало с моим классом. Разве что с Аленой Зимовой. Но ей я тем более ничего не сказала, хоть она и бросала на меня какие-то странные взоры, будто что-то подозревала. Но я притворялась, что не замечаю.

С Митей Карауловым я тоже не попрощалась. В июле он несколько раз кричал со двора – звал меня погулять. Бульдог лаял. Однажды Митя даже постучался в двери, чего не делал никогда прежде. Но я заперлась в чулане и попросила бабушку передать, что у меня скарлатина и дифтерит, а также холера и чума.

Зато я попрощалась на акробатике. Сообщила Белуге, что уезжаю в дальние страны становиться балериной, и пусть они вместе с Катей ищут себе другую нижнюю. Тренер был глубоко шокирован и принялся обвинять меня в предательстве и измене собственной тройке, не говоря уже об одесской сборной, а так не поступают даже распоследние жида. Катя плюнула

мне под ноги, а Белуга разревелась и бросилась мне на шею. Я не посмела ее оттолкнуть, хоть руки и чесались.

Все лето я читала книги и делала вид, что никуда не уезжаю. Всю “Анжелику” прочла, которую бабушка мне наконец доверила, раз меня приняли в Израиль. А потом вдруг наступило тридцать первое августа, я побежала прощаться с Дюком, а когда вернулась, такси уже поджидало у большой арки первого двора. Родители кричали, что я безответственна, как Обломов.

Мои чемоданы собирали мама с бабушкой.

– Мы скоро подъезжаем. – Антон Заславский перегнулся через меня, отворил верхнюю створку окна и уселся на сиденье напротив.

Я потеряла глаза и заметила, что темнеет, автобус пуст, а дорога петляет сквозь ущелье, то вверх, то вниз. Уши заложило. Вокруг возвышались поросшие леском склоны холмов, какие-то заржавевшие колымаги торчали слева, а в окно залетал прозрачный и чистый воздух, больше не похожий на банный. Мне даже показалось, что мы выехали из Израиля в другую страну.

– Эта дорога обогрена кровью, – сказал Антон. – Многие полегли, чтобы мы теперь могли беспрепятственно въехать в Элию Капитолину.

Должно быть, я все еще спала. Потом он некоторое время молчал, а мимо, в низине, пронесся удивительный городок с зелеными куполами минаретов, затем коричневые крыши маленьких домишек на вершине горы, каменные развалины, огромная белая стена, над которой рядами лежали прямоугольные плиты...

– Смотри, это Сион.

Тут Антон извлек невесту откуда гитару и, перебирая струны, приятным голосом завел: “Тебя там встретит огнегривый лев и синий вол, исполненный очей, а с ними золотой...”

– Хочешь шоколадку?

И мы въехали в Иерусалим.

Глава 8

Деревня

– Вылезай, дружок, – сказал Антон Заславский, когда очередные ворота раскрылись, автобус одолел крутой подъем, не менее отвесный спуск и припарковался под одиноким фонарем. – Последняя остановка.

Выходило, что Пионерская Деревня Сионистов или Сионистская Деревня Пионеров, я точно не помнила, располагалась на горе. Мне ничуть не приглянулась перспектива шагать вверх и вниз ежедневно в течение следующих трех лет и захотелось остаться жить в автобусе.

– Вы неправы, – заявила я Антону.

Он отложил гитару, которая за время карабкания по Сиону успела исполнить “Виноградную косточку”, “Надежды маленький оркестрик” и “Если у вас нету тети” в переводе на тарбарщину.

– Но это в самом деле Деревня Сионистских Пионеров, – поспешил меня заверить Антон.

– В римоне не шестьсот тринадцать косточек, а пятьсот восемьдесят восемь. – В качестве вещественного доказательства я показала содержимое пакета от бутерброда.

В темноте не было видно выражения лица Антона. После короткой паузы он сказал:

– Наверное, тебе попался оригинальный римон, не похожий на другие. Это хороший знак. Ты освобождена от заповеди не трепетать перед лжепророком, не заниматься магией и не угощать иноземца мясом жертвы. Только все же постарайся не быть с юных лет обжорой и пьяницей. Вылезай.

Мне ничего не оставалось делать, кроме как вылезти, попрощаться с зевавшим водителем и извлечь два огромных чемодана из автобусного желудка. Антон помог мне их достать, и тут рядом с ним возник страшный объект.

– Ну наконец, Антоха! – грудным басом приветствовала моего сопровождающего большущая женщина, величиной с полторы моих бабушки, только моложе лет на двадцать. – Мы уже два часа ждем сокровище.

Женщина была одета в розовый сарафан, из-под которого торчали голубые лосины. На голове у нее возвышался конский хвост, выкрашенный в красный цвет; в ушах болтались немислимые золотые серьги, размером с луковицы; запястья звенели браслетами, а все пальцы, включая большие, были унизаны кольцами всех видов, форм и мастей. Женщина была похожа на людоедку. Я сжалась и инстинктивно попыталась спрятаться за спину Антона, но тот подтолкнул меня вперед.

– Долго ждали подвозку из Кадури, – оправдывался он, – потом были пробки возле Тель-Авива, а один оглоед забыл кошелек в Герцлии, пришлось возвращаться из Кфар Ярока.

– У-у-у-у... – сочувственно замычала людоедка. – Нелегко тебе, миленький, живется на свете. Ну хоть до дома за десять минут доскачешь.

– Забирай поскорее свое сокровище, Фридошка, а то сбежит обратно в Одессу. – Антон все настойчивее подталкивал меня к кошмарной “Фридошке”.

– От меня она никуда не сбежит.

Тут страшная женщина больно ущипнула меня за щеку, а потом прижала к груди с такой силой, как будто я была ее потерянной в младенчестве и ныне вновь обретенной дочерью.

– Знакомься со мной: я твоя домовая, – представилась людоедка, еще крепче меня стиснув. – Ты моя первая ласточка.

Я с выразительным отчаянием взглянула на Антона.

– Так мы называем заместительниц ваших мам, – объяснил он. – В каждой группе есть один мадрих и одна домовая. А где Тенгиз, кстати?

Зловещее имя “Тенгиз” напугало меня еще больше. Я мгновенно вообразила свирепого татаро-монгольского головореза с кривой саблей, злющими раскосыми глазками и тонкими висячими усами. И с островерхим шлемом в придачу, как же без него.

– Дайте человеку передохнуть! Он завтра приступит к своим мадриховским обязанностям, – пробасила Фридошка.

Антон оседлал мотоцикл, припаркованный возле автобуса, повесил гитару на спину и надел шлем.

– Ну что ж, прощай, девочка из Одессы. – Антон протянул мне руку для пожатия. – Имею честь. Счастливого оставаться.

– Не уезжайте, – взмолилась я, вцепившись в руку.

– Здрасьте, – с укоризной сказала Фридошка. – Смотри мне, девулечка, не привязывайся к каждому встречному-поперечному. Ты теперь моя.

– Я вас больше никогда не увижу? – спросила я у Антона.

– Увидишь, если будешь очень плохо себя вести, – с неожиданной строгостью ответил единственный нормальный человек в еврейских землях. – Лучше тебе со мной больше не встречаться.

Я обиделась.

– Выше нос! Ни пера тебе, ни пуха, и помни о заповедях. Лучшая домовая программы “НОА” тебя в беде не бросит.

– Не брошу, – подтвердила людоедка и больно ударила меня по плечу.

Мотоцикл взревел, и Антон исчез в ночи. У меня подкосились ноги.

– Пойдем в жилье, – сказала домовая, поднимая оба моих чемодана и указывая носом на длинное одноэтажное строение в двадцати шагах от нас. – У тебя есть имечко?

– Комильфо, – вздохнула я.

– Чего?

– Так меня все домашние зовут.

– Интересные у тебя домашние. А по-русски?

– Ребекка, – ответила я назло.

– Уже лучше. Добро пожаловать в свой новый дом, дорогая Ребеккочка.

Мы вошли в темный коридор. Фридошка опустила чемоданы перед оранжевой дверью, включила свет и пропустила меня внутрь:

– Тебе повезло, так как ты первая. Выбирай ложе.

Я огляделась. В довольно просторной комнате с голыми стенами стояли три койки с тонкими клетчатыми матрасами, три стола, три одностворчатых, открытых настель и пустых шкафа, одно окно и какая-то железная коробка над ним. Над каждой кроватью висела голая фанерная доска. Пол был тоже голым, вымощенным коричневыми в крапинку плитками. Голым было и окно, лишенное занавесок. Неоновый свет придавал помещению вид тюрьмы, а может быть, очень чистой пыточной камеры. Пахло хлоркой. Справа от входа была еще одна дверь.

– Тут мы, Ребеккочка, моемся и ходим по делишкам.

Домовая резким движением распахнула вторую дверь, и я увидела раковину, унитаз и душевую кабинку, завешенную уродливой шторой с оленями.

Мне стало дурно, и я присела на ту кровать, которая располагалась слева от окна.

– Выбор одобрямс. – Домовая открыла окно. – Сидим и не шевелимся, я принесу постельное.

Я сидела и не шевелилась. Фридошка скоро вернулась с ворохом белья и сказала: “Встаем”, а потом: “Держим”, и бросила мне шершавые желтоватые полотенца. Затем застелила постель застиранной простыней, которая, вероятно, до революции была голубой; натянула рыжую наволочку на худющую подушку и всю эту роскошь устлала престарелым пододеяльником, в который принялась запихивать кусачее шерстяное одеяло. В пододеяльнике не

было дырки посередине, как у всех нормальных пододеяльников – он был устроен как огромная наволочка.

– Готово! – с неподдельной радостью заявила домовая, застегнув последнюю пуговицу на ненормальном пододеяльнике, и села попой на мою постель. – Сидим.

Я села.

– Значит, так, Ребеккочка. Мы сейчас пойдем спатушки, потому что дорога была длинной и тяжелой, так? Вот. А разбирать чемоданчики, знакомиться с Деревней, с новой жизнью и с новыми друзьями мы будем завтра, когда они приедут. Ладушки?

Я кивнула, ибо что еще мне оставалось делать?

– Тяжело покидать домашних, да? – Фридошка скорчила скорбную гримасу, и серьги в ее ушах закачались, задевая второй подбородок. – Ну, где только наша не пропадала! Мы, евреи, – кочевники. Нам на роду написано шляться по миру. Тебе здесь будет хорошо, вот увидишь. Вода в душе всегда горячая. Кондиционер холодит летом и греет зимой. Вот тебе пульт. Еда у нас хорошая, и люди все добрые.

Так я ей и поверила.

– Сладких снов, Ребеккочка. – Домовая запечатлела на моей щеке мокрый поцелуй и вышла, закрыв за собой дверь.

Еще некоторое время я сидела не шевелясь. Потом шевельнулась. Встала. Открыла один чемодан. Достала туалетные принадлежности. Залезла под душ. Вода действительно была горячей. Вытерлась жестким полотенцем. Надела пижаму. Почистила зубы. Достала из второго чемодана потрепанный “Грозовой перевал”, выключила свет, легла в кровать и обняла книгу.

Проснулась я оттого, что кто-то тряс меня за плечо. Я была уверена, что это бабушка, и испугалась, что опоздала в школу. Подскочила на кровати, но вместо бабушки над моей головой возвышался лысый мужик ростом с телебашню. Я заорала во всю глотку.

– Спокойно, рэбенок, – с грузинским акцентом сказала Телебашня. – Зачем кричишь?

У Телебашни был очень низкий голос, даже ниже, чем у Фридошки, вид у нее был жлобский, и от нее несло одеколоном и табаком. Яркое солнце светило в окно и блестело на лысине. Я забилась в угол кровати, натянула одеяло до носа и закричала еще громче.

– Э, э, девочка! – Телебашня отошла от кровати на два шага назад и вытянула руки, видимо намереваясь дать мне знать, что она безоружна. – Не пугайся, я сам пуганный. Я Тенгиз.

Их что, по габаритам друг к другу подбирают?

– Вы мой мадрих? – испугалась я еще больше, потому что даже островерхий шлем, кривая сабля и усы в тот момент казались выигрышнее.

– Я мадрих. А вот твой или не твой, это надо выяснять.

– Почему выяснять? – не поняла я, но показала нос из-под одеяла.

– Потому, рэбенок, что никакой Рэбекки из Одэссы в списке нет.

– Это потому что я не Ребекка, – призналась я хрипло.

– А кто ты?

– Комильфо... то есть Зоя. Зоя Прокофьева.

– Зачем Фриде наврала?

– Я не наврала... я просто так... Это мое еврейское имя.

– А, ну раз еврейское, тогда хорошо. А то все уже паникуют, думают, неправильного рэбенка нам прислали. А в штабе никто не отвечает, свеженьких встречают. Большой набор. Весь СССР приехал. Фриде не ври больше, сердце у нее больное. Зачем тебе домовая с инфарктом?

– Не буду, – обещала я.

– Пугать я тебя не хотел, рэбенок. Извини меня. Извинишь?

– Извиню.

– Вот и хорошо. Вот и прекрасно. Комильфо, значит. Комильфо? Или Зоя? Или Ребекка?

– Как хотите.

– Сама выбирай себе имя. Ты уже большая. И говори мне “ты”.

– Комильфо, – пробормотала я.

– Молодец. Теперь я выйду, ты оденешься, и мы пойдем завтракать. Восемь часов как раз. Телебашня посмотрела на часы на запястье, которые размерами могли потягаться с серьгами Фридошки.

Он ушел. Я оделась. Мы вышли за коридорную дверь.

И попали в рай.

Рай был похож на ботанический сад или на выставку цветов. На склоне холма раскинулся парк. Кругом цвели кусты роз и фруктовые деревья, оплетенные лианами. Разлапистые листья пальм, больших и средних, слегка пошевеливались под свежим ветерком. Журчала вода, под солнцем сверкали маленькие водоемчики. Укромные беседки и деревянные скамейки были понатыканы на каждом шагу.

Дорога вела вверх, и чем ближе к столовой мы подходили, тем шумнее становилось, пока перед нами не выросла длинная очередь из галдящих патлатых подростков в одинаковых футболках.

– Это местные, – объяснил Тенгиз. – Они тоже тут живут и учатся. Это престижный интернат. Высший класс. Лучший в мире. Стой впереди меня.

Я встала в очередь. Потом несла поднос к шведскому столу, где, к моей радости, не обнаружилось никаких признаков мяса. Только твороги, творожки, сыры, сырки, яйца, яичницы, какие-то пластмассовые банки, овощи и волосатая пушистая картошка в мундире.

– Что это такое? – спросила я, слегка уловившись о ворс картошки.

– Киви, – сверху ответил Тенгиз.

Грузинская картошка оказалась фруктом, зеленым внутри, а на вкус похожим на кислую клубнику.

Это я узнала, когда съела еще две добавки.

– Голодом тебя заморили, да? – спросил Тенгиз, с неменьшим аппетитом уминая гору настоящей картошки. – Бедный рэбенок.

В столовой стоял такой шум и гам, что разговаривать было трудно. Но это не помешало Тенгизу, и он рассказал мне много чего интересного о сионистской истории Деревни и о пионерах, о том, где именно находится Деревня относительно Стены Плача, о том, что в Иерусалиме зимой иногда выпадает снег, и если мне повезет, однажды я увижу пальмы в снегу, гранаты и лимоны в снегу, а это колдовское зрелище, но и без снега Иерусалим – лучший город в мире. И о том он рассказал, что через пару часов приедет еще свежачок из Одэссы, потому что, ёлки-палки, мамой он клянется, нет мест на рейсах из Одэссы, чтобы посадить всех сразу, все ломятся за границу, и мне не будет так одиноко.

Его чужой акцент, спотыкающийся на гласных, резал мне слух и отпугивал. Гремучая смесь грузинского и местного произношения, повлиявшая на обычную прозрачную русскую речь. Хотя вожатый рассказывал занятные вещи, было спокойнее, когда он молчал.

– Ты говоришь как одэсситка, – сказал Тенгиз, и я вздрогнула. – Гласные тянешь. Тебе будет легко освоить устный иврит.

– Одесситка, – сказала я.

– Чего?

– Не “Одэсса”, а “Одесса”.

– Не поправляй меня, Комильфо, это некультурно, – заметил Тенгиз. – Лучше расскажи про свою Одэссу.

– Что вам рассказать?

– “Тебе”.

– Сколько вам лет? – некультурно спросила я.

– Много, – ответил Тенгиз. – Говори мне “ты”.

– Я не могу.

– Можешь. Привыкай.

– А... ты здесь живешь? В этой Деревне?

– Я наговорился. – Тенгиз допил апельсиновый сок, вытер губы бумажной салфеткой и довольно улыбнулся. – Твоя очередь. Это первый и последний раз в три года, когда у меня есть один рэбенок, и все. Теперь ты меня развлекай.

Мы отнесли подносы в подсобку, где конвейер увозил грязную посуду, и пошли осматривать территорию Деревни.

Чтобы разговаривать с Тенгизом, приходилось задирать голову, но мне было не привыкать, я ведь не раз таким манером общалась с Дюком. Мое настроение улучшалось с каждым шагом, потому что Деревня была удивительно хороша и ухоженна, садовники трудились на широких лужайках, щебетали птицы, горный воздух был чист и звонок. К тому же тут обнаружили теннисный корт и даже курятник, загон для коз и целых две лошади. Солнце светило, а не палило, а местные ребята в синих футболках с эмблемой школы – двумя совершенно советскими колосьями с молотом между ними – приветливо нам улыбались. Точнее – Тенгизу. Это была какая-то другая еврейская земля, а не та, с которой я познакомилась вчера.

Я и сама не заметила, как рассказала этому водителю про Одессу. И про деда, про бабушку, маму, папу и Кирилла, про памятники, про Василису, про акробатику, мои любимые книги, то, как я узнала, что я еврейка... Мадрих только кивал головой, произносил “э...”, “а...” и “да, это интересно”. Иногда что-то бубнил по-грузински, а может быть, на местной тарабарщине, трудно было понять.

Солнце уже стояло в зените, когда мы вернулись к одноэтажному общежитию. Знакомый автобус, или его кровный брат, стоял на уже знакомой стоянке, и несколько ошарашенных новоприбывших доставали чемоданы из багажного отделения. Мне стало их немного жаль, и я ощутила некоторое превосходство над свежачком.

– Ну вот, теперь ты больше не единственный рэбенок.

Тенгиз направился к автобусу, и я последовала за ним.

– Привет, Одэсса, добро пожаловать в лучший в мире интернат!

Свежие в смятии подняли головы и посмотрели на Телебашню.

Но тут смятение охватило и меня, потому что среди новоприбывших я внезапно распознала знакомое лицо.

– Привет, Комильфо, – сказала Алена Зимова и села на чемодан.

Глава 9

Десять заповедей первой комнаты

Присутствие Алены в чужой Деревне было таким родным, словно она привезла с собой всю Одессу, включая чулан и Митиногo бульдога. Мы помирились мгновенно. Так, как будто никогда и не ссорились.

– А мы и не ссорились, Комильфо, – напомнила мне Алена. – Это ты уперлась рогом, потому что мне выпало прыгать первой в резинку. Я сто раз пыталась с тобой заговорить, но ты делала вид, что меня не существует. Ты всегда была с прибабахом, да к тому же не терпела моего превосходства ни в чем, даже если речь шла о догонялках. Помнишь, как мы в первом классе поссорились, потому что у меня был заграничный пенал с Дональдом, а у тебя такого не было? Тогда ты тоже два месяца строила мне морды. И еще в тот раз, когда меня, а не тебя вызвали читать “Конька-горбунка” перед всем классом, когда физрук заболел. Но я все равно тебя прощаю, во имя нашего безоблачного детсадовского прошлого. И еще потому, что здесь нам лучше держаться вместе. Еще найдется с кем враждовать, поверь мне. Одесситки – это сила!

И Алена выбросила в воздух сжатый кулак.

Я изумилась, насколько она все неправильно помнила, но спорить не стала. Лишь спросила:

– А Митя?

– Что Митя?

– Вы с ним... это?

– Никакое мы с ним не “это”, чокнутая, – возмутилась Алена. – Он помогал мне с сочинениями, потому что ты от меня отвернулась, а я ему – с математикой. Ты что, решила в него втюриться на старости лет?

Мне стало очень стыдно, к тому же я смутилась.

– Когда ты узнала, что ты еврейка? – спросила я, чтобы уйти от неприятной темы.

– Я всегда знала, что я еврейка. Наша настоящая фамилия – Зимельсон. Ее поменяли во времена НЭПа. Теперь я опять Зимельсон. Я целый год готовилась к экзаменам, потому что с самого детства знала, что хочу уехать в Израиль. Мои родители тоже собираются через пару лет на ПМЖ, если у меня тут все получится. Вообще-то я хотела поступить в школу возле Тель-Авива, где живут папины родственники, но меня почему-то распределили сюда.

– Это рок, – заключила я.

– Не рок, а твои заморочки, но хай будет по-твоему, – не стала спорить Алена Зимельсон.

– А ты почему никому в школе не рассказала, что уезжаешь? – поинтересовалась я.

– Потому же, почему и ты. Нафиг надо, чтобы учителя мне оценки занижали в последней четверти. У них все еще Совок в головах. Ну, может, кроме твоего папы, – исправилась она. – А братве я рассказала на вечеринке у Языкова, на которую ты, как обычно, не явилась. Мы все лето тусовались всем классом на даче у Андрюши и прощались. Но мы будем переписываться. И с Митей тоже обязательно будем.

Так я ей и поверила. Алена никогда не была сильна в эпистолярном жанре, а по литературе всегда получала тройки.

– Ты уже знакома с этим дылдой? – Она показала пальцем на Тенгиза.

– Ага, – с гордостью первопроходца ответила я. – Он ништячный мадрих.

Алена скривилась.

– Давай попросимся у него в одну комнату.

Так мы и стали жить в одной комнате с Аленой, которая выбрала кровать напротив моей, с правой стороны окна.

Мы проговорили миллион часов, наверстывая упущенные годы, и даже забыли, где находимся.

Выяснилось, что тот Жовтневый район, в котором я жила, и та школа, в которой училась, очень отличались от тех, где провела Алена последние пять лет, как будто были разными декорациями одного и того же спектакля. Или разными спектаклями в одних и тех же декорациях. Это открытие повергло меня в глубокое недоумение. Но все равно я испытывала облегчение, радость, а может быть, и счастье.

Несмотря на смену фамилии, при близком рассмотрении выяснилось, что Алена не особенно изменилась: она, как в детстве, была такой же откровенной, уверенной в себе и прочно стоящей на земле. Я твердо знала, что с ней не пропаду, потому что она и теперь будет меня страховать, как тогда, когда я прыгала через заборы.

В восемь часов вечера, когда мы хором распаковывали вещи, в дверь протиснулась Фридошка с чемоданами.

– Ну что, козочки мои, теперь состав полон. Ловите третью девчулку.

Третья показалась из-за Фридошкиной спины. Третья была похожа на мечту художника из Горсада, или на фею, или на Одри Хепберн, а может быть, и на Элизабет Тейлор. Третья была эфемерным созданием с прозрачной кожей, идеальным черным каре чуть ниже скул, яркими глазами с густой подводкой и фиолетовыми тенями и с удивленно полуоткрытым, резко очерченным ртом с темной помадой. Все в ней было совершенным, от длинных ног до изысканных ушей, в которых блестели маленькие золотые сережки. Одета она была почему-то в длинный бежевый плащ, застегнутый на все пуговицы, а обута в высокие сапоги на шпильках. А еще она была из Ленинграда.

– Здравствуйте, девочки, – сказала третья бархатным полусшепотом, заставлявшим окружающих сосредотачивать все внимание, чтобы не пропустить ни слова. – Очень приятно с вами познакомиться, я Аннабелла Велецкая-Крафт. Крафт – как нюрнбергский скульптор. Я из Санкт-Петербурга. Но вы можете звать меня просто Владой.

– Проходи, Владочка, не стой, как куст. Все тебе здесь очень рады. Я уверена, вы подойдете друг другу.

Фридошка предприняла попытку поцеловать Аннабеллу в нос, но та отстранилась от домовой:

– Я бы попросила вас не прикасаться ко мне без моего разрешения. Я очень чувствительна к прикосновениям. Здесь очень жарко.

– Снимаем пальто, – резонно заметила Фридошка.

– Я сниму его, когда посчитаю нужным, – сказала Аннабелла и принялась изучать взглядом Алену.

– Привет, – настороженно сказала Алена. – Я Аленка из Одессы. А это моя лучшая подруга Комильфо. То есть Зоя. Только при чем тут Влада?

– Это мое второе имя. Владиславой звали мою прабабку. До революции она была примой в Мариинке. – Аннабелла повернулась к Фридошке. – Почему вы подселили меня к Одэссе?

– Так получилось, – ласково улыбнулась Фридошка. – Не волнуемся, деточка. Твои соседки очень интеллигентные еврейские девчулки, и мухи не обидают, правда же?

– Правда, – подтвердила я, как загипнотизированная, не в силах отвести глаз от Аннабеллы.

– Ах ты моя ласточка. – Видимо, в качестве компенсации домовая поцеловала в нос меня. Однако Аннабелла не казалась удовлетворенной.

– Мой отец черным по белому прописал в анкете просьбу селить меня только с петербурженками, в крайнем случае со столичными. Я не понимаю, как здесь оказалась Украина.

– Украина была здесь до тебя, – бросила Алена. – Так что давай располагайся на вон той койке. И не “Одэсса”, а “Одесса”.

И Алена указала на пустую кровать, стоявшую поперечно по отношению к нашим, у далекой от окна стены.

– Я хочу у окна, – требовательно сказала Аннабелла.

– Нема тебе окна. Забито, – не без провокации заявила обычно интеллигентная Алена.

– У меня хронический гайморит и вегетососудистая дистония. Мне необходим свежий воздух.

– Можешь взять мою кровать, – сжалась я над Аннабеллой.

– Ты что, охре... – Аленка осеклась, заметив сдвинутые брови Фридошки. – Комильфо, кончай дурить.

– Мне не жалко, честно, – сказала я. – Я здоровая, как два быка.

– Благодарю тебя, Зоя.

Аннабелла опустила на мою кровать, поерзала на ней, проверяя упругость матраса, и улыбнулась, отчего стала в сто тысяч раз красивее. Я прямо аж вздрогнула.

– Вы перестелите постели? – спросила она у Фридошки.

– Сами, сами. Роскошь закончилась. Вас теперь слишком много и будет еще больше. Привыкайте к самостоятельности. Завтра подъем в семь, будем знакомиться с группой. Почти все на местах, осталась только партия с Кавказа.

Аннабелла брезгливо сморщила благородный нос, а Фридошка покинула помещение, послав в воздух воздушный поцелуй.

– Что за бред? – риторически спросила Алена, когда мы остались одни. – Давайте сразу согласуем, как нам вместе жить. Нам необходимо заключить договор, а не то, чует мое сердце, вы меня очень быстро доведете до ручки.

Я немного обиделась, но зато мне польстило, что Аленка слила Аннабеллу и меня в одно целое. А сама идея показалась мне дельной.

– Нам нужны заповеди, – блеснула я знаниями.

Достала из рюкзака тетрадь и карандаш и написала заглавие: “Десять заповедей первой комнаты Деревни”.

– Первый пункт: без принцессничаний, – безапелляционно произнесла Аленка.

– Такого слова не существует в русском языке, – верно заметила Аннабелла.

– Я в курсе, – сказала Алена. – Пункт второй: без долбое...

– Аленка! – не выдержала я, не узнавая воспитанницу привилегированного детского сада “Сказка” для отпрысков работников порта. – Пункт третий: без жлобства.

– Пункт четвертый, – подхватила Аленка. – Матерщина – это всего лишь матерщина. Мы долго не выдержим, если нам придется держать друг перед другом фасон. Тут один туалет и один душ на троих. Нам придется их делить, придется переодеваться на глазах общественности, и придется чувствовать себя при этом удобно. Так давайте без.

– Без чего? – спросила принцесса.

– Без этого самого...

– Щепетильности? – пришла ей на помощь Аннабелла.

– Без заумных слов, из которых должно следовать, что ты чем-то лучше меня.

– Я так воспитана, – фыркнула Аннабелла.

– Так перевоспитывайся быстрее.

– Пункт пятый, – прошелестела Аннабелла. – Никто не посягает на мое личное пространство, граница которого проходит вот здесь.

Она встала и, как канатоходец, процокала каблуками по плиточным швам аккуратно посередине комнаты, между моей бывшей кроватью и Аленкиной настоящей.

– Пункт шестой, – сказала я. – Мы выключаем свет после отбоя, не шумим, не слушаем громкую музыку, ложимся спать не позже одиннадцати, никого в нашу комнату не впускаем и не мешаем друг другу учиться и отдыхать.

– Лады, – с тяжелым вздохом согласилась Алена. – Хотя я и привыкла ложиться в двенадцать и, между прочим, не могу заснуть без “Металлики”, “AC/DC” и “Сектора Газа”.

И она красноречиво достала из чемодана двухкассетник Sharp и гору расписанных фло-мастерами кассет.

– Сектор Газы – это там, где война? – вспомнила я папины слова.

– Боже, – содрогнулась Аннабелла. – Как твои уши не вянут от этого мерзейшего кошмара?

– А ты что слушаешь? – без особого интереса спросила Алена. – Небось “Поручика Голицына” и Изабеллу Юрьеву?

– Мы с моим отцом предпочитаем слушать Башлачева, БГ, Щербакова и Берковского, – презрительно ответила Аннабелла, – а играть – Моцарта, Шопена и Шуберта. Я окончила художку и музыкальную школу по классам фортепиано и скрипки. В изобразительном же искусстве мне нравятся немецкие экспрессионисты и венское ар-нуво, а особенно Фриденсрайх Хундертвассер. Я посетила его выставку в Русском музее. В вашей Од эссе хоть слышали когда-нибудь об этом художнике?

– Нет, – призналась я с большим интересом, а Аленка только нетерпеливо покачала головой.

Звучное имя моментально завладело моим воображением. Фриденсрайх Хундертвассер. Так должен называться герой романа о тевтонских рыцарях. Он, несомненно, невозможно красив и благороден, этот Фриденсрайх. Хундертвассер. Лучше Таузендвассер. Лучше фон, раз он дворянин. Фриденсрайх фон Таузендвассер. И очень загадочен. Друзья называли его Фридом... Фридом Красавцем.

Демонический Фрид во всех баталиях был преданным соратником дюка, владыки Асседо...

– Пункт седьмой, – выдернула меня из грез Алена. – У кого-нибудь есть седьмой пункт?

– Есть, – сказала Аннабелла. – Вы никогда не станете расспрашивать меня о моем прошлом.

– Без проблем, – заверила ее Алена.

– Почему? – спросила я.

– И вообще давайте без лишних вопросов.

– Ну, давайте, – пришлось согласиться. – Но тогда восьмая заповедь: раз уж мы вместе живем, так нам надо друг дружке во всем помогать и защищать от обидчиков.

– Каких таких обидчиков? – вскинулась Аннабелла. – Я похожа на девушку, которую можно обидеть?

– Ну, мало ли что... ты не похожа, а я...

– Ты тоже не похожа, – сказала Алена. – Ты вообще ни на что не похожа. А я?

– Ты?! – удивилась Аннабелла. – Да ты сама кого угодно обидишь и даже не заметишь.

– В общем, мы заключаем пакт верности, – подытожила я.

– И вот еще, – вспомнила Аннабелла. – Пускай мы друг друга возненавидим, что вполне вероятно при данных обстоятельствах, но мы будем хранить секреты друг друга даже под страхом исключения из программы.

– Да? – Я в задумчивости погрызла карандаш.

– Это совершенно необходимо, – сказала Аннабелла. – Клянусь, я ни слова никому о вас не расскажу, пусть вы тут хоть поубиваетесь. Особенно важно хранить тайны от мадриха и домовой, это каждому ясно.

– Принцесса права. Я тоже клянусь, – кивнула Алена. – Девятая заповедь – не стучать.

- Ладно, – пришлось согласиться и мне.
- Итак, пункт десятый, – торжественно заявила Алена. – Соблюдать чистоту и порядок. Туалет моем по очереди. Мусор выносим по очереди. Полы моем. Пыль вытираем.
- Но... – замялась Аннабелла.
- Чего?
- Я не умею мыть полы. К тому же у меня маникюр.
- И она продемонстрировала нам длинные острые ногти с перламутровым лаком.
- Пианистка хренова, – сказала Алена и тут же извинилась: – Простите, барышня, я нарушила третий пункт.
- Какое наказание понесет нарушившая заповедь? – поинтересовалась я.
- Девочки задумались.
- Двое других будут ее судить, пока не придут к единогласному решению. Помните? Как было на экзаменах. У вас тоже такое было?
- Мне пришлось воскресить в памяти жуткое групповое задание со времен тестирования, о котором я до сих пор боялась вспоминать.
- Было. Я согласна.
- Я тоже, – сказала Алена.
- Отобрала у меня тетрадь, выдрала лист и прищипила к доске над своей кроватью.
- Осталось расписаться кровью, – предложила я.
- Елки, Комильфо! – воскликнула Алена. – Ты что, читаешь мальчишковое чтиво?
- Да, – призналась я.
- Какой твой любимый роман? – с неподдельным интересом спросила Аннабелла.
- Это моя персональная тайна, – с флером загадочности произнесла я. – Мы же договаривались – без лишних вопросов. А твой?
- Для меня это вовсе не тайна, – сказала Аннабелла и извлекла из чемодана потрепанный томик с заглавием “Лолита”.
- Про что это? – спросила я с искренним любопытством. – Дашь почитать?
- Аннабелла посмотрела на меня с нескрываемым презрением:
- Не доросла еще.

Глава 10

Клуб

– Ты уже разговаривала с родителями? – спросила я у Алены, после того как мы в третий раз постучали в двери ванной, оккупированной Аннабеллой.

На часах была половина восьмого, а Тенгиз сообщил, что явиться в клуб необходимо в без четверти восемь. Аннабелла, вероятно, заняла туалет задолго до того, как к нам зашла Фридошка и разбудила, объявив: “Подъем, красатулечки, нам предстоит очень важный день, ведь сегодня мы знакомимся с нашей новой семьей”, – и поцеловала в носы. Когда мы открыли глаза, кровать третьей уже пустовала.

– Вчера, – ответила Алена. – Мама делает вид, что ничуть не переживает, но я-то знаю, когда она нервничает. Я ее успокоила и рассказала, что мы в раю.

– Я тоже вчера позвонила своим, – сказала я. – Только разве за пять минут можно толком поговорить? Я даже поплакать как следует не успела, и карточка закончилась. Сообщила, что ты тоже тут, и бабушка страшно обрадовалась. В Одессе дожди. И еще бабушка потребовала, чтобы я позвонила маминим родителям, которые тоже живут в Иерусалиме. Но я еще не решила, как с ними быть. В общем, я обещала написать подробное письмо.

Мы постучали в четвертый раз. Аннабелла наконец выплыла из туалета, при полном параде, похожая на Наташу Ростову на именинах. Под бежевым плащом виднелось красное платье в обтяжку и кружевные чулки. Волосы уложены, макияж как у невест, что фотографировались у Оперного перед загсом.

– Быстрее, – оторвала меня Аленка от восхищенного лицезрения, – ты не успеешь почистить зубы.

После чистки зубов мы с колотящимися сердцами направились в Клуб.

Это была просторная комната в другом конце коридора, со старыми, но хорошо сохранившимися диванами, креслами и стульями. Кроме того, в Клубе обнаружили телевизор, видеомэгнитофон, музыкальный центр, книжные полки и странный длинный мраморный стол, отгораживающий комнату от кухни. На стенах висели веселенькие транспаранты, разноцветно желающие “хорошего года в Деревне” и “счастливого прибытия”. Спрятавшись за спины Алены и Аннабеллы, я принялась разглядывать присутствующих.

На кухне у плиты сутилась Фридошка, а Тенгиз доставал из холодильника упаковки и бутылки и расставлял их на столе, возле пластмассовой посуды.

Общую комнату занимала куча разношерстного народа, который было затруднительно классифицировать. Некоторые походили на сельских жителей, некоторые – на детей дипломатов. Кое-кто был одет в дорогую импортную одежду, в которой преобладали полосатые ветровки, гетры, блестящие лосины и вареные джинсы, а кое-кто красовался в обычной советчине из “Детского мира”. Но всех объединял взбодороженный вид.

Всех, кроме одной группки.

Я вспомнила бывалую Иру, которая в самолете посоветовала мне вычислить в толпе звезду тусы, вокруг которой происходит весь движняк, и тут же поняла, что она имела в виду.

В центре группы, состоявшей из двух девочек и четверых мальчиков, восседал парень в кожаной куртке с косой молнией и кучей заклепок. Его черные волосы были коротко острижены на затылке, а с высокого лба волной спадала челка, похожая на воронье крыло и настолько нагеленная, что она казалась деревянной. На звезде были черные джинсы, пояс с массивной пряжкой и ковбойские сапоги. На шее у него висела тяжеленная золотая цепь с тем самым символом, который красовался на флаге в Еврейском Сообществе Сионистов.

Группа заняла самый удобный бархатный диван и пространство вокруг него. Ковбой, закинув ногу на ногу и заложив руки за голову, развалился на диване как у себя дома.

Я заметила, что Аннабелла глядела туда же, куда и я. Не прошло и минуты, как она, оценив ситуацию, процокала каблуками к центральному дивану и подошла к простоватому здоровенному блондину в спортивном костюме, что почтительно стоял чуть поодаль от ковбоя, как будто был его телохранителем.

– Здравствуй, – сказала наша третья блондину. – Я Аннабелла-Владислава из Санкт-Петербурга. Можешь звать меня просто Владой.

– Здорово. – Блондин распрямил плечи и стал выше еще на несколько миллиметров. – Я Миша с Чебоксар.

– Очень приятно, – улыбнулась Аннабелла. – Когда я нервничаю, у меня всегда дикая жажда. Не будешь ли ты так любезен принести мне попить?

– Ты че, блин? – сделал круглые глаза Миша из Чебоксар и, явно не зная, как поступить, вопросительно посмотрел на ковбоя.

Но ковбой смотрел не на Мишу, а на Аннабеллу.

– Мишаня не может решить, по понятиям ли носить телке воду, – объяснила мне Алена. – С одной стороны, это пацанский поступок, а с другой – шестерочный.

Теперь круглые глаза сделала я.

– Комильфо, – сказала Алена с упреком, – хоть леди ты так и не стала, ты все же росла в нафталине и тебе очень многому придется научиться, если ты собираешься здесь выжить.

Тем временем ковбой властным жестом отодвинул мальчика, который сидел рядом с ним, и похлопал по освободившейся диванной подушке, приглашая Аннабеллу присесть. Но Аннабелла сделала вид, что ничего не заметила, и снова обратилась к Мише:

– Видимо, в Чебоксарах производятся исключительно чурбаны. Я сама принесу себе попить.

И, виляя бедрами, как на подиуме, направилась к столу.

– Стой, – подал голос ковбой.

Аннабелла выразительно остановилась и повернула голову, взмахнув каре.

– Чего тебе, красотка? Воды или сока?

– Малогазированную. Тамбовский волк тебе красотка. Меня зовут...

– Слышали, – сказал ковбой, вставая. – Я Арт.

– Откуда ты приехал, Арт? – спросила Аннабелла.

– Из Москоу, – ответил ковбой.

– Его предки – совладельцы “Фриойла”, – подсказал мальчик, которого сдвинули. – Я тоже из Москоу.

– Понятия не имею, что это значит, – изобразила Аннабелла бесстрастность.

– Это значит, что его пахан нехилое бабло срубает, – объяснил здоровый блондин.

– Благодарю вас, Миша из Чебоксар, за полезную информейшен, – презрительно бросила Аннабелла.

Девочки, окружавшие Арта, пронизывали Аннабеллу недоброжелательными взорами.

– У нее фирменный плащ от “Берберри”, – шепнула грудастая девчонка в сиреновом платье соседке, у которой были волосы до бедер и непропорционально большие синие глаза, отчего она походила на персонажа из японских мультиков.

– Реально?! – тоже шепотом спросила японка.

– Ты не туда смотришь, – вдруг одернула меня Алена. – Это все фигня и дешевые столичные понты. Смотри вон туда!

И кивнула головой на дальний угол Клуба. Там рядом со столом стояли двое парней и тихо ржали.

– Это наши, – заявила Алена. – Члены команды КВН сто девятнадцатой школы.

– На Жуковского, что ли?

– Ага. Идем, я тебя с ними познакомлю.

И Алена уверенной походкой направилась к кавээнщикам. Те обрадовались Алене как родной сестре, поприветствовав фамильярными поцелуями в щеку.

– Это Комильфо. Она же – Зоя, – представила меня Алена. – Моя бывшая лучшая подруга. А это Леонидас и Фукс, они же Леня Пекарь и Гриша Боеничев.

– Значит, нас четверо! – вскричал ошарашенный Фукс, который Гриша Боеничев. – Нас почти столько же, сколько москвичей. Ну шо, Комильфо, присоединяйся.

Алена и ее двое знакомых завели оживленную беседу о последнем полуфинале, пропущенном ими из-за полета. Оказалось, что Алена слыла главной болельщицей команды “Тело в тельняшке”, всегда посещала игры во главе группы поддержки и все полтора часа стоя держала плакат, несмотря на то что это тяжкий труд, а потом освистывала обнаглевшее жюри.

Вставить свои пять копеек в этот междусобойчик было почти невозможно, и я довольно быстро почувствовала себя гостьей на свадьбе очень дальних и незнакомых родственников. Я заскучала и принялась разглядывать остальных.

Аннабелла принимала второй пластмассовый стакан из рук Арта, глядя при этом на атлетического вида парня, который ковырялся в салате. Москвичи и чебоксарец все так же не подпускали никого к центральному дивану.

Три темноволосые кавказские девочки, неуверенно державшиеся, не отставали ни на шаг от Тенгиза и помогали ему накрывать на стол.

Молдаванок ни с кем невозможно было спутать, и я сразу их вычислила по похожей на Софию Ротару бойкой девчонке, громко расписывающей более робкой соотечественнице прелести Деревни, с которыми она успела вчера ознакомиться, – включая курилку в третьей беседке от забора, где собираются местные.

Кудрявый невысокий мальчик смущенно общался с двумя очень белобрысыми и немодными девчонками в устаревших мыльницах. Все трое выглядели умными, хоть мальчик отчаянно краснел.

Впервые в жизни я осознала, что Советский Союз действительно состоял из пятнадцати республик и к тому же развалился. Также я впервые задалась вопросом, почему все евреи настолько не похожи друг на друга. А еще я содрогнулась от мысли, что мне придется провести с этими незнакомцами три года жизни, и мне опять невыносимо захотелось домой.

Я осмотрела всех, но тут поняла, что кое-кого упустила.

Одиноким долговязым худощавым субъектом в очках стоял у выключенного телевизора и вертел на указательном пальце пластмассовую тарелку. Бабушка называла таких типов словом “несграбный”. Рука парикмахера давно не прикасалась к его всклокоченным волосам, и выглядел он так, будто вскочил с постели и, не успев в ванную, побежал напрямик в Клуб. Коричневые сандалии, обутое поверх черных носков, создавали жуткую дисгармонию с безобразными оранжевыми шортами и поношенной футболкой с фотографиями динозавров.

Субъект подмигнул мне.

Я отвернулась в ужасе от того, что именно мне он посмел подмигивать. Я даже оглядела свою собственную одежду, чтобы убедиться, что она не настолько кошмарна. Но нет, я была в обычных своих любимых просторных варенках, присланных тетей Галей из Америки, в клетчатой рубашке с пуговицами и в сандалиях без носков. Правда, с каждой минутой я все больше сожалела о том, что надела эту рубашку, потому что становилось все жарче.

– Шалом, – сказал субъект, внезапно оказавшись в непосредственной близости от меня.

– Здравсьте, – вынужденно отозвалась я.

– Я не был уверен, мальчик ты или девочка, но по голосу сразу слышно, что девочка.

– Ты что, слепой? – удивилась я.

– Ма питом! – произнес субъект на тарабарщине. – Просто ты какая-то андрогинная.

Честное слово, никогда в жизни я не знала оскорбления большее этого.

– Что такое “мапитом”?

– А это на иврите означает “с чего это вдруг?” или “с какого перепугу?”. Ну, приблизительно, если игнорировать нюансы. То есть если ты чем-нибудь возмущена, или если кто-нибудь в твоём присутствии сморозил полнейшую чушь, как, например: “вот, типа, не Иерусалим столица Израиля, а Тель-Авив”, или “Иешуа из Назарета является коллективным бредом, а не исторической личностью”, или “Атос неправ, потому что он повесил миледи, не спросив, откуда у нее клеймо”, так и кричи сразу: “Ма питом!”

Я совершенно опешила. То есть полностью.

– Ты вполне можешь кричать “ма питом!” и в том случае, если кто-нибудь заявляет, что ты андрогинна, – заявил субъект. – Давай потренируемся. Ты андрогинна... Ну? Попробуй. Ты андрогинна.

– Ма питом, – пробормотала я.

– Красавица, – одобрил субъект. – Схватываешь на лету. И это круто, что тебе знакомо слово “андрогинна”, раз ты на него обижаешься.

– Может, я и андрогинна, но я не дура, – буркнула я.

– Ма питом дура! – воскликнул субъект. – Никакая ты не дура. Это тоже сразу видно.

– Что еще тебе видно? – спросила я на всякий случай.

– Видно, что ты из Одессы. Но больше ничего особенного, – ответил субъект, и я почему-то опять обиделась. – Как тебе нравится наша новая семья?

– Я о них еще ничего не знаю, – тактично ушла я от ответа.

– Прямо так и ничего?

– Прямо так.

– Врешь ты все, – заметил тип. – Ну да ладно. Как тебя зовут?

– Комильфо.

– Это ты пытаешься сразить меня интеллектом, красиво увильнув от вопроса? – сощурился собеседник. – Или утвердить свою андрогинность?

– Да нет, меня все так зовут с самого детства.

– Комильфо, значит. Окей. Будем знакомы, я Натан Давидович Вакшток.

Эту фамилию я уже когда-то слышала.

– Ты откуда?

– Отсюда.

– Что значит “отсюда”?

– Из Иерусалима, вестимо.

– Я не понимаю.

– Так я тебе объясню. Я родился здесь, в Израиле, а потом мои родители уехали в СССР работать посланниками Еврейского Сообщества Сионистов. Сперва они работали подпольно, а когда Союз развалился – легально. Так что всю свою сознательную жизнь я, к сожалению, провел в Одессе.

– К сожалению?! – вскричала я, и Алена с кавээнщиками повернулись в мою сторону.

– Привет, – помахал им тарелкой Натан Давидович. – Ну да, естественно, к сожалению. Когда человека отрывают от родины, это вряд ли окажется приятным. Нес па, Комильфо?

– Па, – согласилась я.

– Вот я и решил вернуться на родину, пока мои родители отбывают каторгу своего призвания. Нет лучшего пути возвращаться назад, чем через программу “НОА”. А раз ты тоже из Одессы, значит, ты стопроцентно встречалась с моей мамхен. Ее зовут Маргарита Федоровна. Или Магги.

– Точно! – вспомнила я “сыночка”, которого Магги тоже собиралась отправлять в Израиль.

– Да, это она меня, грешным делом, родила.

– Нас пятеро! – радостно воскликнул Фукс, который прислушивался к последней части разговора.

– Нет, увольте, пожалуйста, – заявил Натан Давидович. – Я вам не одессит. Я иерусалимец.

– Все кончаем болтовню и рассаживаемся на полу! – загремел на весь Клуб голос Фридки.

– Почему на полу? – удивилась Алена.

– Чтобы приблизиться к корням, – улыбнулся Натан Давидович. – В Иерусалиме чем ты ближе к земле, тем ближе к небу. Такой парадокс.

И перестал быть похожим на субъекта.

Глава 11

Письмо № 1

Через пару недель после прибытия в землю праотцев моей галактической мамы я написала родителям письмо. Бабушка сохранила его, как и все остальные письма, полученные в тот период.

Вот что я писала.

Дорогие бабушка, дедушка, мама, папа и Кирилл!

Сперва сообщаю вам, что у меня все отлично, чтобы вы сразу были спокойны.

Мы с вами не успеваем обо всем поговорить по телефону, поскольку нам выдают телефонные карточки, которых хватает от силы на семь минут, а очередь в автомат состоит из десяти человек минимум каждый день. Так что не обижайтесь на меня за то, что я редко звоню: у меня очень мало свободного времени, а его я должна потратить на учебу. Математика, английский, русский язык и литература тут легкие, а ничего другого мы пока не изучаем, кроме иврита, которому выделена целая куча часов.

В свободное от уроков, групповых занятий и знакомства с местными обычаями и правилами время я занимаюсь этим ивритом. Он дается мне относительно легко, но все равно требует серьезных усилий.

Мне предложили выбрать дополнительные кружки. От пения и спорта я сразу отказалась, потому что мне хватило детских травм, так что и не настаивайте.

Про детские травмы нам рассказывает Виталий, представитель программы “НОА”, который бывает у нас раз в неделю и проводит с нами групповые занятия, чтобы сплотить нас в коллектив. Все называют его психологом, хоть он сразу заявил, что он не психолог, а “педагогический куратор”, но этот термин многим сложно запомнить. Виталий мне нравится, потому что относится к нам как к взрослым людям и не сюсюкается, как Фридошка. Он всегда использует сложную терминологию, а тем, кто ее не понимает, задает читать про это в деревенской библиотеке. Я тоже получила термин, который нужно было самостоятельно искать в книгах. Мне задали “фрустрацию”. Вы когда-нибудь слышали о таком слове?

“Фрустрация” не переводится дословно на русский язык, но это полезное понятие, потому что описывает состояние, когда чего-то очень сильно хочешь, но не можешь получить, и бьешься головой об стенку. Как, например, когда простаиваешь полтора часа очередь к автомату, а потом выясняется, что захватила с собой опустевшую телефонную карточку. Это очень фрустрирует. Мне бы хотелось, чтобы Виталий был нашим домовым вместо Фридошки, потому что он разбирается в подростковых конфликтах, а Фридошка не очень, и это тоже меня фрустрирует.

Фридошка, наша домовая (то есть наместница мам на еврейских землях), мне не очень нравится еще и потому, что она постоянно лезет с вопросами и требует, чтобы мы ей ежедневно докладывали, “ма нишма”. На иврите это значит “что слышно?”. Обычно на это отвечают “беседер” или “окей”, что значит “в порядке”, но ее это не удовлетворяет, и она нас упрекает в том, что мы ничем с ней не делимся, а она хочет все о нас знать, потому что мы ей дороги, как родные дети.

У Фридошки трое своих родных детей, которые живут вместе с ней и с ее мужем на территории Деревни, так что мне не совсем понятно, зачем ей еще двадцать. Все это как-то странно. А поскольку Виталий всегда спрашивает, какие чувства у нас вызывает то или это, и советует их проговаривать, я так ей и проговариваю: “Фридошка, вы вызываете у меня недоверие”. На что Фридошка смеется, целует меня в лоб и говорит, что я молодец. На этом

диалог заканчивается. Ругаться с Фридошкой совершенно невозможно, а иногда хочется с кем-то поругаться, потому что ругань – это самый легкий способ избавиться от фрустрации.

Еще у нас есть воспитатель и наместник пап, “мадрих”. Его зовут Тенгиз. Сперва, когда я была единственным ребенком в его группе, он делал вид, что я ему интересна, но потом перестал обращать на меня внимание, потому что теперь нас двадцать человек. Он очень скрытный, о нем никому ничего не известно, и вообще он странный тип и совсем не похож на педагога, в отличие от папы. Скорее он похож на чернорабочего. Кузнеца какого-нибудь или каменотеса.

С Тенгизом часто ругается Арт и его подпевалы – москвичи и один чебоксарец. Арта на самом деле зовут Артемом, он сын директора бензоколонки, и, видимо, поэтому все хотят с ним дружить. Хотя Аннабелла утверждает, что вовсе не поэтому, а потому что он невозможно харизматичен и является самцом альфа не по происхождению, а по биологическим данным. Аннабелла – это наша с Аленой соседка по комнате, и на самом деле ее зовут Влада, но это имя ничуть ей не подходит. Я никогда в жизни не видела таких красивых девочек, а одевается она, как женицины из модных журналов, которые лежат у Фридошки на столе в кабинете вожатых. Фридошке тоже кажется, что она модно одевается, но это настолько же далеко от истины, как я – от вас.

Но мне не грустно, не подумайте, я прекрасно справляюсь. Аннабелла многому меня учит. Она обладает богатой эрудицией и обширными знаниями в сфере современного искусства, музыки и литературы. У нее, должно быть, очень интеллигентная семья, какая мне и не снилась. То есть я не имею в виду, что наша семья не интеллигентная, но мы менее прогрессивны. Благодаря Аннабелле я пришла к выводу, что Одесса не такой уж и культурный город, как мне всегда казалось, и получается, что я всю жизнь жила в провинции.

Аннабелла всегда носит длинную и закрытую одежду, несмотря на то, что в Израиле постоянная жара. Она многим жертвует во имя красоты, что я очень приветствую, поскольку благодаря этому о ней никто никогда не скажет, что она андрогинна.

А про меня так сказал Натан Давидович. Он коренной израильтянин и сын одесской посланницы Еврейского Сообщества – той, что помогала нам собирать документы для программы. Он тоже очень умен, как Аннабелла, только в другом смысле. И он тоже держится особняком, как я. Но мне не одиноко, не подумайте ни в коем случае.

Сперва мы с Натаном Давидовичем подружились, несмотря на то, что он меня обозвал. Мы с ним обсуждали Эдгара По и “Мастера и Маргариту”, его любимую книгу, потому что она про его обожаемый Иерусалим. Он просто бредит этим Иерусалимом.

А во вторую пятницу, после уроков, нам разрешили выйти за территорию школы, чтобы закупиться едой и туалетными принадлежностями в супермаркете (это такой большой магазин, в котором есть все на свете, о чем вы даже и не мечтали, и если я о чем и сожалею, так это о том, что вы не побывали в супермаркете), который находится в ста метрах от деревенских ворот.

Но вместо супермаркета Натан Давидович уговорил меня пойти посмотреть на стены Старого города и, в частности, на Стену Плача. Я сопротивлялась, потому что скоро нам нужно было вернуться в общежитие, а Старый город находится довольно далеко от Деревни. Но в итоге все же он меня уговорил.

В общем, что я могу сказать про Иерусалим? Это очень странный город, ни на что не похожий, а на Одессу так вообще никаким боком даже близко. Он красив местами, а местами уродлив. Многие люди в эту жару ходят в черных шляпах и кафтанах, как до революции, а женицины носят парики, юбки до пола и косынки на головах. Натан говорит, что это ортодоксальные евреи и что в Иерусалиме религиозны все, даже те, кто об этом не подозревает.

Когда наступает суббота, все магазины закрываются, общественный транспорт перестает ходить, и кажется, будто все вымерло. Это неприятное ощущение.

К тому же Иерусалим какой-то несуразный, и непонятно, как в нем ориентироваться. Несмотря на жару, это очень холодный город. Не знаю, как это объяснить, но такое впечатление, что он враждебен к чужакам, а может быть, и к своим тоже. Я сказала об этом Натану, но он не согласился.

В Одессе все наоборот. В Одессе все свои, даже туристы, и все морды узнаешь в лицо. А тут все какие-то незнакомые и непонятные, хоть и все время пытаются с тобой заговорить, как будто хотят что-то продать.

Я так и сказала Натану, но он рассмеялся мне в лицо и заявил, что я не сумею различить дружелюбность, даже если она будет стоять перед моим носом и дарить мне цветы, потому что я сама как эти стены, которые кто только не пытался протаранить. Я опять обиделась и сказала, что я вовсе не как эти стены и что я не умею воспринимать уродство, потому что родилась в Одессе, где глаз привык к красоте, и указала на единственный памятник, который нашелся в этом городе. То была бронзовая статуя не то коня, не то осла, с длинным закругленным носом. Конь обрелся на площадке возле главного городского универмага, который называется “Маибири”. Я не стану писать вам, как, по словам Натана, называется эта безобразная статуя, потому что это верх неприличия, о чем я и заявила Натану. Он сказал, что я ханжа и святоша и трудно вообразить, что я всю жизнь провела в Одессе, у которой даже он, духовно развитый молодой человек, многому научился.

На это я ответила, что его Одесса и моя Одесса – это разные Одессы, а у Алены она вообще третья, как разные у нас и Иерусалимы, а в моей Одессе таких коней отродясь не водилось, даже в страшных кошмарах де Рибаса, де Воллана и Топуза.

Тут Натан Давидович с неожиданным пониманием выдал: “Человек – всего лишь слепок ландшафта детства своего”. Неужели он сам до такого додумался?

Но Старый город меня сильно впечатлил, тут уж ничего не попишешь. Это нужно видеть своими глазами. Настоящая средневековая крепость с башнями, цитаделями, извилистыми улочками, церквями, мечетями и восточным рынком с настоящими арабами.

Я потеряла дар речи и больше ничего не могла возразить Натану, чем он и воспользовался, без умолку рассказывая мне о том, где именно находился дворец прокуратора Иудеи, какие останки Виа Дolorозы особенно примечательны, что лежит под Голгофой и кто откопал истинный Крест. Все это было очень интересно, но я не очень слушала, потому что Старый город вызвал во мне эйфорический экстаз, и я чуть не осталась в нем жить навсегда, а мы и половины всего не осмотрели.

Прошло два с половиной часа, а когда мы вспомнили о времени, уже начало темнеть. В Иерусалиме темнеет очень быстро, и сумерки длятся всего ничего. Натан говорит, что это из-за близости к экватору.

Мы помчались сломя голову искать такси, но все те, что стояли у Яффских ворот, были заняты, а Натан не советовал идти к Дамасским, потому что там арабы, которые враги. Так что нам пришлось бежать до того самого коня и ловить такси там, но город уже опустел и вымер, потому что началась суббота, о чем оповестила сирена, завывавшая откуда-то с небес.

Но это потом выяснилось, а сперва я заорала и закрыла голову руками, потому что решила, что началась воздушная тревога и на нас напали арабы, живущие у Дамасских ворот. Натан вывел меня из заблуждения и в этот раз.

Такси мы поймали минут десять спустя, но все же сильно опоздали. У ворот рядом с будкой охранника стоял Тенгиз и уже собирался вызывать милицию, чтобы нас разыскивать. Он сказал, что от кого-кого, но от нас такого не ожидал, и было ясно, что нам сейчас влетит по полной программе.

А Натан Давидович вместо покорного покаяния завел полемику о том, что нас давно следовало повезти к Стене Нлача и какой позор на голову Деревни и всего воспитательского

коллектива, что за две недели пребывания в Иерусалиме ученики программы “НОА” до сих пор живут как за железным занавесом.

“Вы наказаны, – заявил Тенгиз. – Когда выйдет суббота, пойдете убирать окурки по всей территории Деревни. Вернетесь ко мне тогда, когда у каждого наберется двести окурков и ни на окурков меньше. Это первое предупреждение. После следующего нарушения правил будете разговаривать не со мной, а с Фридманом”.

Я робко спросила, кто такой Фридман, после чего получила очередную отповедь о том, что я постоянно витаю в облаках и ничего вокруг себя не замечаю, а с такой рассеянностью как я собираюсь служить в армии?

Оказалось, что Фридман – это директор программы “НОА” в Деревне Сионистских Пионеров, то есть является прямым начальником Тенгиза, Фридошки и нашей классной руководительницы (о ней я расскажу как-нибудь в другой раз). “Марш ужина!” – рявкнул Тенгиз, и у меня вся спина похолодела. Мы действительно собирали бычки после исхода субботы, и я перевыполнила план и насобирала двести сорок семь бычков, но Тенгиз их даже не посчитал. А на Натана Давидовича я была так зла, что перестала с ним разговаривать.

Алена сказала, что я поступаю с ним точно так же, как поступила с ней во дворе после гибели Василисы, и что пора бы мне поучиться на своих ошибках, на что я возразила, что нечего даже сравнивать такие несопоставимые ситуации.

А Аннабелла меня поддержала и донесла до нашего сведения, что с сильной половиной человечества именно так и следует поступать, особенно если ее представители не склонны к проявлению ответственности. “Тотальное игнорирование, – сказала она, – вот самое действенное женское оружие. Пусть ползает на животе, если захочет вернуть назад твою благосклонность. Смотри, как ползает Арт вот уже вторую неделю, пытаюсь спровоцировать меня хотя бы на взгляд. Ну и пусть себе созревает. А если ты меня спрашиваешь, Комильфо, я бы вообще не стала связываться с этим Натаном. Уж больно он странный и выглядит как отморозок. Давай мы лучше тебя накрасим, причешем, приведем в порядок и подберем тебе нормальный прикид, чтобы ты стала на человека похожа, не говоря уже о девушке.

А то ходишь как бесполое привидение”.

Наверное, Аннабелла не знала слова “андрогинное”, поэтому употребила этот эпитет. Что заставило меня задуматься вот о чем: если две противоположных личности говорят о тебе одно и то же, значит ли это, что их суждение верно? Так я хотела и у вас спросить: в самом ли деле я похожа на бесполое привидение?

Как у вас дела? Как Кириллу живет в Москве? Как самочувствие бабушки и деда? Как в школе у папы и у мамы на работе? Какая погода сейчас в Одессе?

Я вас всех люблю и скучаю по вам. Пишите, пожалуйста, много и подробно, чтобы я могла все себе представить воочию, и пришлите фотографии.

Ваша Комильфо.

Р. S. Маминим родителям пока не позвонила. Я должна созреть.

Глава 12

Учительница

– Зоя... Зоя! ЗОЯ!

– А?

Перед моим взором возвышалась Милена, наша классная руководительница, по совместительству учительница иврита.

– Эйфо ат? – спросила она, что означало “ты где?”.

– Ани по, – ответила я, что означало “я здесь”.

– Нет, ты вовсе не здесь, моя хорошая, – заявила Милена и заглянула мне через плечо. – Что это ты все время пишешь?

– Э... ничего... переписываю слова с доски.

Я поспешно захлопнула тетрадь.

– Покажи, – потребовала Милена.

– Нет, – отказалась я и, вспомнив психологические уроки Виталия, добавила: – Это мои личные принадлежности, вам нельзя их трогать.

– На моих уроках твои личные принадлежности становятся моим достоянием, – возразила Милена.

И отобрала тетрадь.

– После урока останься в классе. Поговорим на перемене.

Я принялась ерзать и бросать отчаянные взгляды на Алену, делившую со мной парту.

– Не бойсь, – шепнула Алена. – Ничего она тебе не сделает, она добрая.

Училка действительно была доброй, хоть и одевалась очень строго, как какая-нибудь старуха-вдова или как религиозные женщины – всегда в длинных юбках, шароварах или в бесформенных балахонах, в которых тонула ее стройная фигура, и в клоунских башмаках. Мне хотелось выяснить у Натана Давидовича, почему она так выглядит, если на голове у нее нет ни парика, ни косынки, но я все еще на него злилась, потому что, после нашего опоздания и несмотря на перевыполненный план бычков, Тенгиз по-прежнему смотрел на меня волком.

У Милены было очень хорошее лицо и очень русское. Светлые брови и ресницы, внимательные голубые глаза, веснушчатая кожа, розовые щеки, которые краснели, когда училку захлестывали эмоции (что случалось с ней нередко), и длинная русая коса. Ей бы очень подошел кокошник вместо парика. Я долго не могла привыкнуть к ее имени, потому что подмывало назвать ее, например, Настенькой.

Милена любила обсуждать с нами всякие темы, не касавшиеся иврита, и всегда поддерживала “открытый диалог с классом”. Так что, если кто-нибудь посреди урока вдруг интересовался, почему арабы не любят евреев, зачем изучать Библию в обязательном порядке, если она тысячу лет уже не актуальна, – наверное, нас собираются силой превратить в религиозных, – или почему в Израиле Новый год празднуют осенью, она никогда не злилась за сорванный урок, а с радостью прерывала запланированное занятие и пускалась в “открытый диалог”. Когда Милена обращалась к классу, она называла нас “друзьями”.

Так что я вовсе не боялась наказания, а только ощущала страшный конфуз, как бывает, когда кто-то заходит в ванную, а ты голая. И оказалось, что нет на свете чувства неприятнее этого.

Урок все не заканчивался.

Арта опять выгнали из класса за то, что он положил ноги на стол и раскачивался на стуле. “Злая вы женщина, – с вызовом оскалился Арт. – Все изеры так делают, а нам нельзя, потому что мы, типа, гражданства не имеем, а значит, типа, бесправные?” – и хлопнул дверью.

Аннабелла фыркнула и еще старательнее принялась выводить буквы справа налево в своей безупречной тетрадке с черным переплетом в разводах. Мультикообразная Вита и грудастая Юля, сидящие слева от нас, тоже принялись раскачиваться на стульях, но этого никто не заметил. София Ротару, которую в самом деле звали Соней, спросила, что такое “зона”. Натан Давидович повернулся со своей первой парты, где сидел один, посмотрел на меня, потом на Алену, потом на Соню.

Милена оторвалась от доски.

– Кто тебе такое сказал? – спросила учительница.

– Да так... услышала. – Соня в смущении принялась вертеть в руках карандаш.

– От кого? – нахмурилась Милена.

– Израильтяне на теннисном корте нам кричали, – пришла на помощь Соне Берта, ее лучшая подруга и соседка по третьей комнате.

Берта отличалась танцевальными способностями и любовью к коротким джинсовым юбкам и к ботинкам на шнуровке, с квадратными каблуками. На дискотеке, которую устроили в одну из пятниц в честь нашего прибытия в Деревню, они с Соней были звездами. Вокруг них образовался круг, девчонки в центре закидывали ноги друг другу на плечи, изгибались в мостиках, а Берта даже села на шпагат. Все рукоплескали и свистели, а потом с Бертой и Соней захотели познакомиться местные и увели их показывать потайные уголки Деревни, что очень польстило нашим.

– Друзья, – серьезно сказала Милена, отложив мел и отряхнув руки, – это ужасное слово. Никогда и никому не позволяйте себя так называть. Если услышите, сразу обращайтесь к кому-нибудь из старших.

– Че, крысить? – презрительно буркнул Миша из Чебоксар. – Сами разберемся.

– Что же это значит? – испуганно переспросила Соня.

– Зона – это женщина легкого...

– Шлюха, – перебил Милену Натан Давидович. – Проститутка. Шалава. Бл...

– Прекрати! – вдруг воскликнула учительница с таким видом, будто Натан Давидович обзывал ее саму.

– Зачем прекращать? Пусть знают правду. Милена Владимировна, слово есть, а шлюхи нет? Вы же учительница словесности. Русские девчонки, девушки и женщины – шалавы в глазах израильтян. Это тайна, что ли? Пусть знают, что о них думают и чего ожидают, когда приглашают прогуляться по Деревне.

– Офигеть! – совсем распоясался Миша. – Да я этих гребаных обезьян изувечу...

– Я с тобой, братан, – поддержал его атлетический Никита, сосед Арта по комнате.

– Натан! – Миловидное лицо Милены покрылось густыми красными пятнами, будто она переела клубники. – Как тебе не стыдно!

– С чего это мне должно быть стыдно? – спросил Натан. – Я всего лишь описываю факты.

– Я в шоке, – сказала Вита. – В полном шоке. Типа, если мы красивее всех этих черных уродок, так мы теперь шалавы?

Юля опустила глаза и застегнула верхнюю пуговицу на блузке.

– Не надо было надевать юбки, из-под которых видно декольте, – повернулась Алена к Соне и Берте.

– Ты идиот, Натан, – вдруг вмешалась Аннабелла и резко выпрямилась. – Женская сила заключается в соблазне. Эти местные просто никогда не встречали настоящих женщин. Вы видели, как одеваются эти израильские дуры? Видели, что творится у них на головах? Они вообще когда-нибудь причесываются? А эти жиры, выпирающие из боков? Эти ляжки? Это ужас какой-то! Неудивительно, что их мужчины готовы платить за то, чтобы быть с русской женщиной. И пусть платят подороже.

Натан расхохотался.

– Сколько же ты стоишь, Влада? – спросил черноглазый Марк, главный подпевала Арта и его второй сосед по комнате.

– Тебе никогда столько не накопить, – бросил Фукс.

– Давайте устроим аукцион, – предложил Леонидас.

– Обращайтесь, когда соберете на ламборгини, – с королевским достоинством заявила Аннабелла.

Поднялся шум, хохот, крики и визги.

– Тихо! – вскричала Милена. – Что вы за люди, десятый класс Деревни? Где вы воспитывались? Соня и Берта, я хочу знать, кто эти мальчишки, которые посмели оскорбить вас. Они должны быть наказаны. Они будут наказаны. Совершенно не важно, во что вы были одеты. Да даже если бы вы сами бросились им на шею...

Милена задохнулась, попыталась совладать с собой, но ей не удалось.

– Милена Владимировна, – снова подал голос Натан Давидович, – принести вам воды?

– Влада, – проигнорировала его слова учительница. – Ты тоже останься после звонка. Я сперва поговорю с Зоей, а потом с тобой.

– Без проблем, – спокойно улыбнулась Аннабелла.

Милена повернулась к доске, плечи ее дрожали.

Казалось, ожидание звонка стало для нее не менее мучительным, чем для меня.

Что хуже – прослыть шлюхой или андрогином? – невольно задалась я вопросом.

Звонок наконец прозвенел.

Все, кроме Натана и Алены, пулей вылетели из класса. Должно быть, потому, что каждый хотел оказаться первым, кто сообщит Арту о том, что он пропустил.

– Все будет окей, – сказала Алена, похлопала меня по плечу и тоже вышла.

Натан озадаченно смотрел на учительницу, резкими движениями вытиравшую губкой доску. Потом обратился к ней на иврите, но та по-русски попросила его покинуть класс.

Все еще клубничного цвета Милена села за учительский стол и сцепила руки на моей тетрадке. Я придвинула стул и уселась напротив.

– Не обращай на них внимания, – на всякий случай сказала я. – Это обычные подростковые конфликты.

– Вернемся к нашим делам, Зоя, – отрезала Милена, заново обретая ровный тон. – Я не впервые замечаю, будто твоя голова постоянно чем-то занята. Такое впечатление, что ты не находишься здесь, в реальном мире.

– А где я нахожусь?

– Это только тебе одной известно.

– Здесь я нахожусь, – заверила я Милену. – В Иерусалиме, в Деревне Пионерских Сионистов.

– Сионистских Пионеров, – поправила меня Милена. – Скажи мне, Зоя, тебе здесь плохо? Ты скучаешь по дому? По маме? Как ты вообще справляешься с адаптацией?

“Адаптация” была термином, к которому все взрослые в Деревне испытывали чувства даже более нежные, чем к слову “савланут”, что означало “терпение”, и “леат-леат”, что означало “потихоньку”, и использовали его при каждом удобном случае, несмотря на то, что оно звучало так мерзко, будто кто-то водил ногтем по наждачной бумаге. В уродстве с “адаптацией” могла потягаться только “абсорбция”.

Оба этих слова превращали нас из людей в химические элементы.

– Хорошо справляюсь, – ответила я. – Не скучаю. Все у меня окей и беседер.

Милена посмотрела на меня внимательными глазами:

– А почему же ты все время отключаешься? Как ты думаешь, что тебе мешает?

– Ничего мне не мешает. Я всегда такой была. И никому это тоже никогда не мешало.

Верните мне, пожалуйста, мою тетрадь.

– Может быть, в этом и заключается проблема.

– В моей тетрадке?!

– В том, что никому это никогда не мешало.

– Не вижу никакой проблемы. Если вам это мешает, я буду внимательнее слушать вас на уроке. Но, честно говоря, лучше отключаться, чем выслушивать эту чушь про куртизанок и смотреть на провокации Арта, который срывает все уроки, чего никак не скажешь обо мне.

Милена нервно кашлянула:

– Хочешь рассказать мне о том, что ты пишешь?

– Нет, не хочу.

– Мне очень интересно, правда.

– Ничего интересного там нет.

– Можно посмотреть?

– Нет!

– Ты этим занимаешься на уроках, Зоя, вместо того чтобы ментально, а не физически присутствовать в классе. Тебя как будто ничего больше не интересует. Но если ты не участвуешь в обсуждении общих проблем, ты не сможешь стать интегральной частью коллектива?

“Интеграция” была третьим отвратительным словом, от которого начинало чесаться все тело и наступала фрустрация.

– Не все обязаны становиться интегральной частью чего бы то ни было, – возразила я. – На свете существуют свободные частицы. Мне хватает моей собственной кинетической энергии.

– Тебя интересует физика? – смягчилась Милена.

– Меня не интересует физика. Ею интересовались мой брат и папа, который учитель математики. Но и брата она тоже больше не интересует. Он учится на журфаке.

– Как интересно, – улыbnулась Милена. – А что же интересует *тебя*?

Я пожала плечами.

– Можно получить тетрадь обратно?

– Давай договоримся: я отдам тебе тетрадь, а ты взамен задашь мне один вопрос. Хоть о чем-то, что тебя в самом деле интересует.

Странные педагогические методы практиковались в Деревне Сионистских Пионеров. Мне ничего не оставалось, кроме как кивнуть.

Милена протянула мне тетрадь:

– Спрашивай.

– Тенгиз здесь давно работает? Почему он не познакомил нас со своей семьей, как Фрида? У него есть образование? Сколько ему лет? И сколько лет вам?

Тут Милена снова покраснела. Но на этот раз как-то иначе, с розоватым оттенком и вдобавок на ушах.

– Ученикам не следует интересоваться личной жизнью воспитателей, – смутилась училка. – Это не...

– Комильфо, – подсказала я.

– Вот именно.

– А что тогда комильфо? Делать вид, что меня интересует то, что не интересует, и что не интересует то, что интересует, как все?

– Признаться, я не подозревала в тебе такой...

– Наглости?

– Искренности.

Я встала и специально поволокла стул по полу к парте, чтобы его железные ножки мерзко заскрежетали по плитам.

– Оставь стул, – сказала Милена. – Я жду Владу. Вы же с ней соседки?

– Ну?

– Зоя, ты не замечала ничего странного в ее поведении? Чего-то, что могло бы обеспокоить старших?

Тут я чуть не потеряла дар речи.

– Вы что, предлагаете мне стучать на мою соседку, тогда как не ответили на элементарные вопросы, которые я задала о вашем коллеге?! Вы решили вести со мной открытый диалог, чтобы выпытать информацию о Владе?

Милена внимательно посмотрела на меня.

– Зоя, – сказала она, – прошу тебя, если ты когда-нибудь почувствуешь страх за свою подругу, за других ребят в этой группе, за саму себя... Если вам будет угрожать какая-либо опасность, не оставайся со своим страхом наедине, расскажи о нем Тенгизу, Фридошке, мне, кому угодно, только не скрывай. Ваши родители далеко. Кроме нас, некому вас оберегать. Нет ничего благородного в скрытности. Нет ничего взрослого в недоверии. В умении доверять и просить о помощи заключается...

– Понятно, – перебила я этот выпретенный монолог, – вы уже успели забыть, как это – быть в нашем возрасте. И еще не успели родить своих детей.

Глава 13

Восьмая заповедь

Однажды вечером, когда уже стемнело и я вернулась в комнату после пробного урока по бальным танцам в спортзале Деревни, в итоге которого тренер сообщила, что работать со мной теоретически можно, но акробатические поддержки навсегда выбили из моего тела грацию, и я осознала наконец, что мечту стать балериной стоит забросить, и решила встать на путь реализма, – я поняла, что на моей бывшей кровати лежит не одно, а два тела.

Под махровой простыней, которую Аннабелле прислали посылкой из Ленинграда вместе с коробкой конфет и свитером из ангоры, тела шевелились и издавали пыхтящие звуки.

Смутившись не на шутку, я уже собралась закрыть дверь и тактично покинуть помещение, но тут услышала:

- Нет... подожди... не так... я не уверена...
- Ну че ты ломаешься, солнце? – Несмотря на хрипение, я узнала голос Арта. – Давай...
- Не сейчас... лучше потом... – неуверенно сопротивлялась Аннабелла.
- Не потом... ты меня сама позвала... я уже... Не дергайся, заяц.
- Но может быть... нам не стоит...
- Тебе будет хорошо, я быстро.
- Но я не совсем готова...
- Блин, ты что, этот пояс запаяла?
- Арт...
- Помоги расстегнуть!
- Может, не надо?

Тут я впервые поняла, что законы вовсе не облегчают человеку жизнь, а очень даже наоборот, потому что часто происходит так, что два разных правила вступают в противоречие, и тогда сложно выбрать, какому из них следовать.

Раздираемая между шестой заповедью, которая запрещала нам приглашать в комнату чужаков и которую Аннабелла нарушила, за что должна была понести справедливое наказание, и восьмой, что требовала от нас защищать друг друга при любых обстоятельствах, я все же выбрала следовать последней, когда Арт повысил голос:

- Может, хватит разыгрывать целку? Мы не в театре.

Впрочем, на самом деле я ничего не выбирала – заповедь сама выбрала меня.

Я сперва захлопнула дверь, чтобы не подставлять Аннабеллу, а потом щелкнула выключателем, содрала простыню с верхнего тела и громко воскликнула:

- Вон отсюда, урод моральный!

Аннабелла отползла к стене, Арт вскинулся, схватился за спущенные штаны, захлопал глазами, ослепленный внезапным светом, и тут увидел меня. Это почему-то его успокоило, и он даже забросил попытки натянуть футболку и отшвырнул ее на пол.

- А, это ты, как тебя там. Исчезни и вернись через десять минут.

От такого хамства у меня перехватило дыхание.

- Собирай свои манатки и вали, дегенерат!

– Ты че, охренела? – Правильные черты лица Арта исказились. – Я не понял, ты купила эту комнату? Закройся в туалете и сиди там, если тебе что-то не нравится.

От гнева меня так сильно колотило, что думала, я упаду. Но я взяла себя в руки.

- Если ты сейчас же не сгинешь, я вызову мадрихов.

– Не надо мадрихов! – тихо вскрикнула Влада. – Пожалуйста, не надо! Я буду все отрицать!

Тут я заметила, что она все еще была полностью одета, если не считать расстегнутого пояса. Каре растрепалось, и на лице у нее образовалось очень детское выражение, как будто она забыла дорогу из садика домой или потерялась на площадке.

– Крыса, – процедил сквозь зубы Арт. – Мадрихов она позовет. Мадрихи скажут мне “ну-ну-ну”, папа им позвонит – и делов. А вся группа узнает, что ты стукачка. Я тебе сделаю черную жизнь, мало не покажется. Через неделю сбежишь к мамочке.

Честное слово, я не знаю, откуда у меня взялась храбрость, но я ее и не искала, она тоже сама меня нашла, и я стала лихорадочно выкрикивать все ругательства, известные мне из литературы и кино:

– Ты паскуда, скотина, кретин и мудак, Артем Батькович. Ложи себе в уши мои слова, каналья: я таких поцев, как ты, в подворотнях на Молдаванке мочила кастетом. Так шо не говори мне за группу, я плевала на группу. Попробуй меня или я сделаю из тебя лужу!

Арт с большим недоумением на меня посмотрел, а Аннабелла очень громко и очень звонко рассмеялась.

– Она шизанутая? – спросил скотина и козел.

– Есть немного, – улыбнулась Аннабелла, приглаживая каре, и снова стала взрослой и опытной. – Она слишком много читает. Не обращай внимания. Давай ты сейчас уйдешь, солнышко, Алена все равно тоже скоро вернется, а мы увидимся завтра, за завтраком. Хорошо?

– Окей, – сказал Арт. – Я пошел делать математику.

Натянул наконец футболку и ковбойские сапоги. Склонился над Аннабеллой, и они очень долго и очень врасос целовались.

– Пока, шиза, – бросил он мне и повертел пальцем у виска.

Глава 14

Письмо № 2 (неотправленное)

Дорогие мама, папа, бабушка, дедушка и Кирилл!

Урываю свободный час между шахматным обедом и групповой встречей с Виталием, чтобы написать вам.

У меня все хорошо.

Мне стали сниться странные сны. То есть это один и тот же сон, только в разных вариациях. Мне снится, что я иду по Карла Маркса от Дерибасовской, но вместо Потемкинцев на площади вырастает Стена Плача. А в других случаях мне видится, что я иду утром вверх по Деревне в здание школы, а Деревня вдруг превращается в Бульвар, но на месте Дюка на Бульваре во весь бюст стоит академик Глушко, которого я терпеть не могу. Я потом просыпаюсь с колотящимся сердцем, и такое впечатление, что я потеряла что-то важное.

Но это всего лишь сны, а в настоящей жизни у меня все замечательно. Мне все здесь нравится. Мы праздновали еврейский Новый год, который приходится на начало октября. Никакой елки не было, но рыбу подавали. Еще мы ели яблоки с медом, гранаты и орехи. Фридошка все приготовила, а Тенгиз проводил церемонию праздника. Как тамада, только вместо тостов читал всякие молитвы и рассказывал про еврейские обычаи. Потом был Судный день, когда трубят в рог, открывается Книга Судеб, все постятся и просят друг у друга прощения, чтобы избежать кары небесной в следующем году. У нас многие решили поститься, но выдержали только Алена и Натан. А Аннабелла все равно ничего никогда не ест, так что она не в счет. Я даже не пробовала держать пост, я и так все время голодная.

То есть вы не думайте, что нас плохо кормят. Кормят нас хорошо: три раза в день в столовой, в школу дают с собой бутерброды и фрукты, а по вечерам мы либо сами что-нибудь готовим, либо Фридошка нас подкармливает. В холодильнике в Клубе всегда есть молоко, консервы с туном и со сладкой кукурузой, шоколадное масло и белый хлеб как минимум. Иногда мы выносим овощи и яйца из кухни. Я научилась жарить глазунью, омлет и варить макароны. Вы можете мной гордиться.

Раз в две недели в супермаркете мы покупаемся шоколадками, кока-колой и чипсами. Я могу съесть две пачки в день. И две плитки шоколада.

Еда в столовой тоже не ужасная, только она мне немного надоела. В Израиле совсем не умеют готовить жареную картошку. Они ее пересушивают и режут слишком мелко. Чеснок не кладут. Гречневую кашу днем с огнем не сыщешь, не говоря уже о манной. Суп с перловкой или с горохом пересолен. Зато овощи и фрукты всегда свежие.

Мы иногда дежури́м в столовой на кухне – помогаем готовить салаты, убирать столы и мыть посуду. Это часть наших деревенских общественных обязанностей. Там заправляет шеф-повар араб, а все его молодые помощники тоже арабы. Такое впечатление, что евреи не любят тяжело работать.

Аннабелла пообщалась с работниками кухни (она не стесняется использовать те слова, что выучила на иврите) и выяснила, что они дружественные мусульмане из иерусалимского района Бейт-Цафафа и желают евреям мира, добра и процветания. Они научили нас говорить “Аллауакбар”, что на арабском значит “Аллах велик”, и “куль кальббиджи йомо” – “каждой собаке – собачья смерть”. Они рассказали нам про свою мечту: поцеловать Черный камень в Мекке. Работают они у евреев на кухне, чтобы накопить денег на хадж, то есть паломничество в Мекку. Так что никакой войны тут нет, это все враки.

Поскольку Аннабелла проявила к их персонам интерес, покуда мы с Аленой драили кастрюли, арабы разрешили ей просидеть все дежурство и практически ничего не делать,

только сортировать вилки, ложки и ножи по лоткам. Так вот, насчет Судного дня. Я попросила прощения у Тенгиза за то опоздание в пятницу, в письменном виде, но вместо того, чтобы меня простить, он сказал, что я должна научиться с ним разговаривать устно. Еще я попросила прощения у Аннабеллы за то, что однажды помешала ей и ее парню делать уроки, ворвавшись без стука в комнату, когда они меня не ожидали. За этот проступок мы с Аленой судили Аннабеллу, потому что у нас в правилах комнаты прописано, что нам нельзя никого чужого к себе приглашать. Аннабелла получила наказание – мыть за нас пол в комнате в течение месяца. Но лучше бы мы ее не наказывали, поскольку то были самые грязные недели в моей жизни. В итоге Алена сдалась и все перемыла сама, освободив Аннабеллу от двух оставшихся недель мытья пола.

Аннабелла потребовала собрать комнатный совет, чтобы пересмотреть наши правила. Она хотела стереть шестую заповедь, то есть получить разрешение звать к себе гостей. Мы долго думали, спорили и в конце концов голосовали. Я была в меньшинстве, так что пришлось вычеркнуть этот пункт. Теперь у нас гостит практически вся группа, от Арта до Натана.

Моя кровать стоит в стороне, так что я могу от всех абстрагироваться. Алена разрешила мне пользоваться ее наушниками, а Аннабелла – плеером и кассетами. У нее шикарная музыкальная коллекция. Так что когда у нас гости, я отворачиваюсь носом к стене и слушаю музыку. Благодаря Аннабелле я познакомилась с Щербаковым, Б Г и Высоцким. Они настоящие поэты. Почему у нас дома никогда не слушали этих бардов? Не может быть, что Кирилл от них не в восторге. Неужели я жила в вакууме?

Гостей в основном зовет Аннабелла, и это московская компания Арта, которого я ненавижу, но иногда у нее бывает и гениальный Юра Шульц из Казани, лучший ученик в нашем классе. Его предки тоже из Ленинграда, просто, как и бабушка, оказались в эвакуации, а потом там застрелили.

Алена иногда приглашает своих кавээнщиков, и они травят пошлые анекдоты. Соня и Берта из Молдавии тоже подружились с Аленой и часто у нас тусуются. Они впятером с Леонидасом и Фуксом играют в карты на желание. Идиотская игра, если меня спросить. Проигрывающие то подкладывают анонимные любовные послания, адресованные Фридошке, под двери кабинета мадрихов, то раскрашивают друг другу морды помадой, то целуются. Иногда даже девочки с девочками. От чего парни в полном восторге и ржут до колик.

Однажды Соне выпало заставить меня играть вместе с ними, и мне пришлось согласиться, чтобы не обламывать Соню, которая вполне милая девочка, хоть и курит в курилке с местными как паровоз. Я моментально продула, потому что в картах мне по жизни не везет, и они задали мне постучаться к Натану Давидовичу и позвать его к нам. Я наотрез отказывалась, но они заявили, что я балаболка, нечестный человек, и еще всякие гадости. Так что пришлось мне стучаться. Алена и Берта стояли в коридоре и надзирали, чтобы я ответила за базар и не драпанула.

Я сразу сообщила Натану, что пришла не по доброй воле, а потому что проиграла в дурака на желание. Но Натан сказал, что ему по барабану, почему я пришла, он только наденет тапочки, и мигом. Он таки надел тапочки на свои вонючие носки, но перепутал левый и правый, споткнулся, поскользнулся на полу в коридоре, который недавно мыли Вита и Юля, а они так моют пол, что воду не сгребают как следует, и все потом в подтеках и лужах. Мне не было смешно, но Алена, Берта и сам Натан громко ржали.

Натан Давидович с превеликой радостью присоединился к дебильной игре, что понизило его в моих глазах еще больше и вызвало еще более глубокое разочарование в нем. Он тоже с ходу продул, и ему задали целоваться с Аленой в течение тридцати секунд. Я думала, что он откажется, но ничуть не бывало. Он с превеликой радостью полез к ней целоваться. А потом, когда в дураках оказалась Алена, сам Натан Давидович задал ей целоваться с ним.

Тридцать секунд прошли, но они все целовались. Мне стало противно, и я покинула помещение и пошла гулять по Деревне.

Я в самом деле не понимаю – неужели у моих сверстников нет ничего святого? Неужели им не хочется романтики? Возвышенных чувств? Как можно целоваться на глазах у толпы? И тем более – Алене!

Недавно она рассказала мне по секрету, что никогда прежде не целовалась. Так что с Натаном Давидовичем был ее первый раз. На желание в игре! Вот на это потратить свой первый раз? Навсегда оставить в голове воспоминание, что твой первый поцелуй случился в таких обстоятельствах? По-моему, это ужасно.

Я бродила по парку, усиленно пытаюсь заблудиться среди ухоженных аллей, дорожек и кустов, но ничего не получилось, потому что я уже знаю их как свои пять пальцев. А поскольку заблудиться мне не удалось, я пошла в гору наверх, к самой высокой, панорамной точке Деревни. Там полукругом стоят три деревянных скамейки на кованых железных ножках. С этого места виден весь Старый город как на ладони. Видно ущелье Гей Бен-Ином, которое, по рассказам Натана, и является Геенной Огненной; видны крепостные стены, серые купола церквей Дормицион и Святого Петра в Галликанту и, главное, Золотой Купол. Когда закат, этот купол как будто бы пылает огнем, а белые стены становятся розовыми, как свадебный торт. Вообще, в Иерусалиме очень выразительные закаты, хоть и короткие.

В тот вечер тоже был закат, и я собралась полюбоваться им в тишине и одиночестве, но оказалось, что одна из скамеек занята, а потом выяснилось, что на ней сидит Тенгиз, скрестив ноги по-турецки, в излюбленной позе всех израильтян, и курит. Я собралась незаметно смыться, но он меня заметил, поспешино потушил сигарету и подозвал.

Он спросил, почему я иляюсь по Деревне. Как будто это запрещено. Я сказала, что не слышала о правиле, запрещающем нам иляться до темноты, а темнота еще не наступила. Тенгиз не стал со мной спорить, а спросил, почему я плачу. Что было очень странно, поскольку я вовсе не плакала, о чем ему и сообщила. Но он сказал, что невозможно отрицать тот факт, что у меня текут слезы по лицу, и это можно называть не плачем, а любым другим словом, которое мне нравится. Я ответила, что в горах недостаточно кислорода и это вызывает зевоту, а когда я зеваю, у меня всегда текут слезы по лицу, что вам всем прекрасно известно.

Но Тенгиз мне не поверил, и я сказала ему, что он может вам позвонить и спросить, так ли это. Так что если он позвонит, подтвердите, пожалуйста.

Короче говоря, он, как и все остальные, принялся допытывать, что со мной такое, почему я все время молчу, ни с кем, кроме Алены и Аннабеллы, не общаюсь, и уж со взрослыми подавно. Я ему пыталась объяснить, что у меня все в порядке, комильфо, окей, беседер и мецунан, что на иврите значит “отлично”, и я не понимаю, почему всем кажется, что со мной что-то не так, и, честно говоря, меня это начинает до печенок доставать.

Я думала, он на меня сейчас обозлится, но он и в ус не подул. Как я уже говорила, поругаться со взрослыми в Деревне практически невозможно, и это удастся только Арту. Они лишь умеют строить выразительные лица, как и все в Израиле.

У всех евреев очень экспрессивные физиономии, даже если они грузины.

Так вот, в этот момент у Тенгиза на морде было нарисовано экспрессивное выражение глубочайшей жалости ко мне, что взбесило меня еще больше. Вот послушайте, что он мне выдал:

“Знаешь что, Комильфо, я в своей жизни встречал немало детей и подростков (это он сказал для вескости), и я сам когда-то был ребенком, хоть и очень давно (ясно, что давно, как и наша классная руководительница Милена, он, разумеется, все про детство позабыл), и я смотрю на тебя и вижу, что у тебя внутри бурлит котел из мыслей и чувств, крышка гремит от пара, но ощущение у меня такое, как будто тебя не научили выражать свои чувства и

мысли и называть их человеческими словами. И получается, что то, что ты чувствуешь и думаешь, – оно бессмысленное”.

Представляете? Это я не умею выражать свои мысли словами? И это кто меня не научил их выражать? Вы, что ли? А про бессмысленные чувства и мысли – это вообще ни в какие ворота. Мои чувства и мысли – бессмысленны? Зачем ему надо было так меня оскорблять? Чего я ему плохого сделала? Я все его указания исполняю, слушаюсь, как солдат на плацу или как каторжник на галерах, и постоянно пытаюсь загладить свою вину за опоздание.

Я ему сказала, что мои чувства не бессмысленные и чтобы он не смел со мной так разговаривать – хоть он мне и мадрих, он мне все же не папа, и даже на папу я бы обиделась, если бы он такое сморозил.

Так что вы думаете, он разозлился? Да ничего подобного.

Он сначала принялся оправдываться – мол, не хотел задеть мои чувства, – а потом сказал, что я опять все не так поняла и что он не использовал слово “бессмысленное”, а “лишенное смысла”, а это разные вещи.

И что в них разного, я не понимаю?

“Ребенок, слова существуют для того, чтобы придавать смысл чувствам. А это необходимо для того, чтобы быть понятым другими людьми”, – продолжил он учить меня жизни, как будто я вчера родилась.

Так что кроме обиды я вдобавок почувствовала унижение из-за “ребенка”. А это уж точно разные чувства, и смысл у них разный.

Потом он почесал лысый череп и сказал: “Ну вот опять.”

Что же нам с тобой делать и как будем избегать недопониманий? Неужели ты не видишь, что я тебе добра желаю?” А я на это сказала, что ничуть не сомневаюсь, что он желает мне добра, потому что ему за это деньги платят и это его профессиональная обязанность – желать нам всем добра, иначе его уволят и он пойдет работать дворником.

Я не знаю, честно говоря, чего это меня так понесло, но он и тут не разозлился. Да что там не разозлился – он обрадовался! Прямо расплылся в улыбке и стал похож на лысую акулу. Он с нескрываемым торжеством заявил, что наконец-то мои чувства приобретают для него какой-то смысл и он понимает, что главная эмоция, которую я сейчас испытываю, – это гнев. И злиться можно, это нормально, это даже хорошо и полезно, и чудесно, и окей, и беседер, и комильфо, и он для того и здесь, чтобы меня выслушать.

Да разве я злобная?! Разве я кому-нибудь хоть когда-нибудь причиняла зло?! Да разве я в своей жизни хоть муху обидела?! И я не сдержалась и в самом деле разревелась, как какая-нибудь белуга, как он хотел с самого начала – довести меня до самых настоящих слез, а не зевотных. И я так ревела, что чуть не задохнулась, и совсем скоро перестала что-либо видеть, тем более что потемнело и закат давно погас.

А он ничего не предпринял: не пытался меня успокоить, не требовал взять себя в руки, не обещал, что все пройдет, что все будет хорошо, что это временный процесс адаптации, абсорбции и интеграции, не говорил, что я сильная, что я совершила подвиг, уехав одна из дома в такую даль, как они обычно говорят в таких случаях; что без родителей жить тяжело, что я ужасно скучаю по дому и по Одессе и он это понимает и все такое, даже платок не предложил (откуда у него платок, у этого мужлана?).

Я собралась встать и уйти и встала, а он меня не остановил. И я сквозь рев ему выдала: “Ты ни фига не понимаешь в детях. Ты не должен был становиться мадрихом. И я надеюсь, что у тебя нет своих детей и никогда не будет! Потому что если бы у тебя были дети, они бы страдали целыми днями и мечтали бы удрать от такого папы, как ты, и хотели бы умереть. Ты ужасный человек, я завтра же позвоню Антону Заславскому и попрошу, чтобы меня перевели в дружую Деревню”.

Так знаете, что он сделал? Он сказал нечеловеческим голосом, как будто замогильным и совершенно бесчувственным: “Мне очень жаль, да, но другой Деревни в программе “НОА” не существует. Деревня у нас только одна, вот эта, в Иерусалиме, – и постучал по скамейке. – Все остальное – кибуцы, молодежные поселки, фермы и четыре религиозных школы”. “Да мне плевать на ваши кибуцы!” – вскричала я.

“На данный момент это твой дом, – сказал он. – И мой тоже. Значит, мыс тобой застряли тут, и никуда нам друг от друга не деться. Так что ничего нам не остается делать, кроме как пытаться наладить связь”.

“Я хочу домой! – заорала я. – Я хочу к маме и к папе!” “Пожалуйста, – сказал Тенгиз. – Тебя тут никто силой не держит. Ты и впрямь можешь завтра же позвонить Заславскому, и он отправит тебя домой. Но пока ты здесь, я с тобой”.

Я развернулась и побежала вниз с холма. Тенгиз побежал следом, довольно быстро обо-гнал и преградил мне путь.

“Ты можешь бежать куда угодно, но это бесполезно. Из Иерусалима тебе больше не убежать. Ты еще этого не знаешь, но я вижу – он уже в тебе. А когда он в тебе, в нем случаются чудеса. – И он ткнул мне пальцем в лоб. – Здесь сложно и одиноко, но я буду с тобой. А однажды ты научишься говорить на языке этого города, ты его услышишь и поймешь, обещаю”.

И в тот же момент, клянусь, вдруг замигали и зажглись фонари по всей Деревне. Мне сделалось так жутко, что я думала, упаду в обморок.

А через секунду меня отпустило, и я успокоилась. Как будто я и не редела и не бежала никуда минутой назад. От этого внезапного спокойствия мне тоже стало страшно, потому что я вдруг поняла, насколько Тенгиз был прав: у меня там, внутри, действительно кипит котел.

“Вот и хорошо, – сказал Тенгиз. – Вот и славно. Но это единственный раз, и последний. Больше я так не буду, это нехороший способ. Прошу тебя, ребенок, больше никогда не заставляй меня так поступать, или меня уволят. Ответственность говорить лежит на тебе, а не на мне. Хоть ответственность за связь всегда лежит на обоих”.

Я хотела что-то сказать, но он сделал такое лицо, что я заткнулась.

“Теперь я за тебя спокоен. Иди в комнату и отдыхай. Завтра поговорим. А если не захочешь говорить, тоже okay, беседер и мецунан, это твой выбор. Спокойной ночи”.

И пошел себе, подкидывая зажигалку.

Так что я взяла себя в руки и пошла в комнату, надеясь, что все уже разошлось.

Я не знаю, зачем я вам все это рассказываю. Может быть, зря, и я еще сама не решила, посылать вам это письмо или нет. Я не хочу, чтобы вы подумали, что у меня тоска по дому и трудности с адаптацией, это неправда, и я не хочу, чтобы вы разволновались и получили инфаркт. Наверное, я просто еще толком не привыкла к переменам. Это нормально. Всем тяжело, хоть они и не говорят об этом вслух, потому что никто не хочет казаться слабоком и рохлей.

Мы же взрослые люди.

Как у вас дела? Как здоровье? Как Кириллу живет в Москве? Какая погода сейчас в Одессе? Можно еще купаться или пляжный сезон совсем уже закончился? Больше всего в Иерусалиме мне не хватает моря.

Жду ваших писем, люблю, скучаю.

Ваша Комильфо.

P.S. Я все еще не связалась с маминими родителями. Пара-пара.

Р. С. 2. “Пара-пара” значит на иврите то же, что и “леат-леат”. То есть “потихоньку”. Но дословно это переводится как “корова-корова”. Это идиома такая. То есть имеется в виду, что коров следует доить по очереди, а не всех сразу одним скопом.

Глава 15

Окно

На праздник Суккот были длинные каникулы, и многие разъехались по родственникам, а мы с Аннабеллой остались в Деревне. У Аннабеллы родственников в Израиле не было. Кроме нас в общежитии остались еще две девочки из Вильнюса и гениальный Юра Шульд.

Мне не было скучно: я занималась ивритом, читала и слушала музыку. Иногда валялась на диване в Клубе у телевизора, хрустя чипсами. Нам установили кабельное телевидение, и я часами смотрела русские каналы, по которым крутили все знакомое старье, “Поле чудес” по пятницам и “Что? Где? Когда?” по субботам, а это создавало иллюзию, будто из дома я не уезжала, и когда вырывалась из-под власти телевизора, то некоторое время не могла понять, где же именно я нахожусь и почему за окном гранатовое дерево, а не решетка с диким виноградом.

Однажды мне довелось попасть на “Гардемаринов”, что вызвало у меня неожиданно бурную реакцию. Сперва я, как всегда, потратила целую серию на размышления, кто же мне нравится больше: Алешка или Сашка. Снова отдала свое сердце Сашке. Влюбилась по самое не могу ко второй серии, что, как обычно, оказалось неразумным, потому что когда Анастасия Ягужинская бежала по высокой траве, заламывая руки и крича Боярскому: “Зачем вы убили этого мальчика?!” я уже пребывала в кондиции и слезы были не за горами.

Для начала я пустила слезу по утраченному русскому полю, на котором никогда в жизни не была, потом поревела над кострами и монастырскими куполами, которые внезапно оказались роднее мамы, а когда дело дошло до щедрых весен, которые возвращались на север к нам, и Алешка с Софьей брели по берегу русской реки и по цветущим болотам с папоротниками, я совсем потеряла самообладание, уткнулась носом в диванную подушку и потонула в собственном болоте из соплей.

В таком состоянии меня нашел Тенгиз. Он в самом деле обладал особым талантом доводить людей до слез или находить их ревущими. Тенгиз спросил, что со мной и хочу ли я поговорить. Я сказала, что не хочу. Он не настаивал, но уселся в кресло, закинул длинные ноги на журнальный столик и с интересом принялся следить за происходящим на экране.

Оказалось, что Тенгиз никогда в жизни не смотрел “Гардемаринов”, и мне пришлось пересказывать ему весь сюжет, а он постоянно путался в Сашке и в Алешке, хоть они ничуть не были похожи, и его тупизм меня разозлил. Когда пошли титры, Тенгиз заключил, что музыка в фильме неплохая, но история не склеивается и шита белыми нитками, а у Сашки отчетливо виден грим и тени на глазах. Мы завели дискуссию на эту тему, но убедить Тенгиза в том, что это самая прекрасная история любви на свете, мне не удалось, потому что, говорил он, я вообще не туда смотрю, и лучше бы я восхищалась Боярским, который, как настоящий мужчина, увез Анастасию из-под ареста и заботился о ней, вместо того чтобы петь разудалые песни про седло и весло, а ее у него умыкнули почем зря.

Здесь мне представился преотличный шанс поругаться с Тенгизом, и я опять заявила ему, что он ничего не понимает в девочках. Он принял обиженный вид, и я даже испугалась, что вместо ругани он сам расплачется, но вместо ругани он сказал, что ему очень хотелось бы понять, зачем мне задевать других людей и какой мне в этом толк. И если взрослые люди готовы закрывать на это глаза, то мои сверстники явно не станут, и чтобы я об этом задумалась в следующий раз, когда мне взбредет в голову кому-нибудь причинить боль.

Я вовсе не поняла, что за боль я причинила Тенгизу, ведь это он надругался над моими светлыми чувствами к прекрасному гардемарину Саше Белову. Но я не стала спорить дальше, тем более что Тенгиз пошел курить, насвистывая “Не вешать нос”.

Мне предложили во время каникул подрабатывать уборщицей на кухне за пять шекелей в час и убирать за такую же зарплату загон с козами. То были первые заработанные деньги в моей жизни, и я хранила их в матерчатом кошельке на липучке, который прятала в шкафу среди трусов, потому что в трусах пряталось самое драгоценное, что у нас было в этой общаге, а потратить не решалась, поскольку то были священные деньги.

Однажды Фридошка пригласила нас к себе домой, и мы ужинали в кругу ее семьи.

В частном домике на краю Деревни, там, где располагалось жилье воспитателей, во дворе сушилось белье, а возле газонов стояли детские коляски, велосипеды, пластмассовая мебель и полуоткрытый пляжный зонт, чьи крылья, как паруса, хлопали на ветру. Все как у людей на даче, кроме стиральной машины, которая тоже почему-то стояла во дворе под навесом и грохотала как ненормальная, источая насыщенный запах стирального порошка.

У нашей домовой был на удивление красивый муж, израильтянин, смешанный из поляков, румын и турков, и такие же красивые светловолосые дети, на которых Фридошкина генетика явно отдохнула. Мы вкусно ели и общались с мужем и детьми на иврите. То есть общалась в основном Аннабелла и девочки из Вильнюса. Юра полез в компьютер мужа и занялся дискетами, пытаясь установить какую-то программу, которую мужу запустить не удавалось. Я играла с самой маленькой, пятилетней дочкой Фридошки в прятки, а потом мы собирали пазл.

В пятницу нам опять разрешили выйти из Деревни за покупками. Аннабелла не хотела покидать комнату, а с Юрой и девочками из Вильнюса я не общалась, так что я одна пошла гулять по городу. Опаздывать я больше не собиралась, поэтому забросила идею отправиться в Старый город, а вместо этого пошла куда глаза глядят, просто так.

В Иерусалиме похолодало, и по вечерам горный воздух пробирал до костей, если одеться не по погоде. Мне понравились ранние сумерки, задумчивый белый город, строгий, без излишеств, туманный и в то же время странно светлый.

Иерусалиму не шло лето, а вот сырость и затянутое тучами свинцовое небо были в самую пору, как платье, сшитое на заказ. Прохожие спешили куда-то, черные и цветные, в пестрых шалях и в бледных джинсах, волочили тележки и кульки с продуктами. Вдыхали мехами автобусы, невысокие дома из белого камня с горделивой простотой прочно стояли на земле. Добротные дома. Маленькие балкончики, зашторенные листвой, приветливо приглашали к неспешной беседе, непременно высокодуховной. За широкими окнами горел свет, хоть и было два часа пополудни.

В этот момент я вообще ни о чем не думала, не скучала, не сомневалась и, кроме того случая с “Гардемаринами”, не злилась и не страдала. На меня словно снизошла благодать отупления чувств. А может быть, то была благодать первого смирения с тем, где я находилась.

Зато Аннабелла, кажется, сходила с ума и от смирения была столь же далека, как от своего любимого Санкт-Петербурга. Впрочем, Аннабелла страдала не по Ленинграду. Страдала она по Арту, который, уехав к дяде в Хайфу, так ни разу и не позвонил ей за всю неделю, хоть они и договаривались, что она каждый вечер в шесть часов будет ждать звонка в кабинете вожатых.

Сперва Аннабелла просто казалась нервной, но старалась делать вид, что все хорошо, и часами пропадала с Юрой Шульцем в компьютерном зале. Однако ночами она, похоже, не спала, и меня не раз будил шум льющейся воды в ванной, какой-то стук, шелканье и звук падающих предметов. Помня о седьмой заповеди, я ни о чем Аннабеллу не спрашивала, а наутро она всегда выглядела свежей, нереально красивой, и каре лежало безупречно.

На четвертый день каникул Аннабелла перестала выходить к Юре и перестала приглашать его к нам. Опустила жалюзи, залегла в кровать и превратилась в мумию.

На пятый день ее каре стало завиваться по краям, а на шестой я не услышала шипения фена, часто будившего меня по утрам. Это было настолько из ряда вон выходящим, что я

решила временно нарушить заповедь номер семь и спросила у Аннабеллы, что с ней происходит.

– Ничего особенного, – показала она нос из-под одеяла. – У меня разыгрался гайморит, и я ужасно себя чувствую. Не смотри на меня, Комильфо, я кошмарно выгляжу. Очень кошмарно, да?

– Нет, – ответила я честно. – Ты выглядишь как обычная девочка.

– О господи! – вскричала Аннабелла и натянула одеяло на голову. – Зачем ты меня обижаешь? Что я тебе плохого сделала?

– Яне собиралась тебя... – Тут я вспомнила слова Тенгиза и придержала язык.

Вероятно, просто всегда следует помнить о том, что мы никогда не знаем, на какую рану в душе другого человека упадут наши слова.

– Принести тебе чай с печеньками? – спросила я.

– Э-э-э... – замешкалась Аннабелла. – Спасибо, но я не знаю... Я и так уже сегодня съела две мандаринки и йогурт. Лучше не надо.

– Может, только чай, без печенек?

– Ну...

Аннабелла опять зависла, как компьютер, в который всунули неправильную дискету. Посмотрела на меня в растерянности.

– По-моему, ты скучаешь по этому мудаку, – решила я на откровение.

– Слушай, – ее взгляд вдруг стал осмысленным и даже засветился надеждой, – как ты думаешь, он меня любит?

– Арт, что ли? Понятия не имею.

– Ну, Зоя, ты же видишь его со стороны, ты же видишь, как он ко мне относится. Как тебе кажется?

– Да никак мне не кажется, – попыталась я избежать очередных обидок.

– Ну пожалуйста, ну скажи мне! Поговори со мной о нем! Я больше так не могу.

Аннабелла так захлопала глазами, с таким отчаянием сморщила лоб, так опустили уголки ее губ, что я преисполнилась такой жалости к ней, что захотелось ее обнять. А мне никогда никого обнимать не хотелось, тем более Аннабеллу, которая никогда не вызывала жалости, лишь только восхищение.

Мне сделалось не по себе. Как в страшных снах, когда внезапно понимаешь, что знакомое лицо знакомого человека – не лицо вовсе, а маска. И как может быть, что я раньше никогда не замечала ее настоящего облика? Разве что в тот раз, когда я застучала ее с Артом и у нее появилось такое же выражение лица, как у потерявшегося во дворе ребенка.

– Мне кажется, что эта свинья не способна любить, – призналась я. – Мне кажется, что он тебя использует в первую очередь в качестве трофея, ведь ты самая красивая девушка в классе, да и в школе, если уж на то пошло, а может быть, и во всем Иерусалиме, хоть в этом я не уверена. Мне кажется, что ты зря тратишь на этого козла время, силы и здоровье и лучше бы тебе встречаться с Юрой Шульцем, у него голова хорошо работает. А еще мне кажется, что ты слишком зависишь от мнения Арта о тебе.

Но Влада будто не услышала ни слова из всего, что я ей наговорила в порыве благих намерений.

– Он мне позвонит? Как ты думаешь? Он позвонит? Когда он позвонит? Что такого сложного взять телефон и набрать номер? Я не понимаю. Не может же быть, что он за неделю меня разлюбил. Так не бывает. Наверное, с ним что-то случилось. Да, точно, с ним произошла какая-нибудь ужасная трагедия. Может быть, его дядя заболел и умер? Может быть, он сам заболел? Может быть, он сам погиб? Ну, допустим, в автокатастрофе. Может, я его чем-то обидела?

Я вздохнула:

– Маловероятно. С такими, как он, катастрофы, к сожалению, не случаются. Я вообще не понимаю, как его приняли в эту программу. Он портит нам всю группу. Да и обижаться он не способен, потому что у таких, как он, вместо души внутри Пазинская яма. Помнишь, как у “Аквариума”? “Мне не нужны женщины. Мне нужна лишь тема. Чтобы в сердце вспыхнувшим зазвучал напев”.

Влада скривилась, как будто проглотила целиком горький перец.

– Что ты мне заливаешь? Хочешь показаться умнее меня? В моем теперешнем состоянии это несложно. В тебе нет ни капли сочувствия, Комильфо. Ты ужасный человек, бессердечный и холодный, как робот, и не понимаешь, что такое настоящая любовь. Да и не поймешь никогда.

Теперь пришла моя очередь обижаться. Неужели все на свете решили, что их обида дает им право обижать меня? Я опять вспомнила Тенгиза и решила, как он, проявить выдержку.

– Я предпочитаю быть роботом, чем стелиться подстилкой под мразью, воображая, что он принц, который меня любит. Не любит он тебя, и никакой он не принц, а папенькин сыночек. Ты живешь в вымышленном мире. Спустишься на землю. Ты же сама говорила, что стоишь никак не меньше, чем Ламборгини, а взяла и предложила всю себя с потрохами какому-то дебилу, за косяк и ковбойские сапоги. Научись себя ценить. А еще лучше, пожри чего-нибудь. Я принесу тебе чай.

Я пошла в Клуб за чаем. Ждала, пока чайник закипит. Насыпала в чашку с потертым совковым символом Деревни три ложки сахара, а потом добавила еще одну. Отрезала ломтик лимона. А когда вернулась, Влады не было в комнате, а из ванной доносился шум струящейся воды.

Я подождала минуту. Две. Пять. Постучалась, но ответа не последовало. Я постучалась еще раз и крикнула, что чай остывает. Тщетно. Прошло еще несколько минут. Я заколотила в дверь, подергала ручку, но дверь была заперта на ключ. Я почему-то испугалась. Вышла из коридора на улицу, обогнула здание общежития со стороны парковки и оказалась у ржавого забора на заброшенном маленьком пространстве под окном нашего туалета.

Я никогда прежде здесь не бывала, и неприглядная изнанка Деревни меня изрядно удивила.

Проем окна был достаточно широким, чтобы меня вместить, только мешала створка со стеклом, окрашенным в желтую краску. Недолго думая, я пошатала створку и выдернула вместе с болтами, благо она держалась на соплях, а общежитие не ремонтировали, наверное, со времен британского мандата. Вообще, в Израиле больше любят мыть и убирать, чем чинить и закреплять. Здесь всегда чисто, но часто поломано.

Я обнаружила какие-то сколоченные доски, похожие на плоты, водрузила их друг на друга горкой, полезла в окно и прыгнула по ту сторону, аккуратно между умывальником и душевой кабинкой.

На закрытой крышке унитаза восседала Влада в наушниках, в задранный до пупа шелковой ночной рубашке и лезвием бритвы старательно выцарапывала нечто на внутренней стороне левого бедра. Кровь стекала по стройной белой ноге и медленно капала на бурые пятнистые плиты пола. Девочка из Санкт-Петербурга как замороженная рассматривала каждую каплю и размеренно покачивалась, когда кровь, струясь между плит, уходила в землю.

Из наушников приглушенно, искаженно и скрипяще доносилось: “Ты видишь, как мирно пасутся коровы. И как лучезарны хрустальные горы”.

– Что ты делаешь? – заорала я и сорвала с нее наушники.

Влада подскочила, как пружиной подброшенная, одернула рубашку, замахнулась и отвесила мне пощечину. Рукой с бритвой.

– Как ты смеешь! – вскричала. – Сволочь! Это мое личное пространство!

А потом:

– Это совсем не так, как кажется! Это не то, что ты думаешь!

И дальше:

– Я не самоубийца какая-нибудь! Это лучший на свете способ избавиться от боли! Я могу тебя научить. Хочешь?

Голос стал заискивающим.

– Я позову мадрихов, – сказала я и направилась к двери, держась за щеку и ощущая тошноту.

Влада схватила меня за рукав:

– Нет, пожалуйста, не надо мадрихов! Ты в самом деле желаешь моей смерти?

– Какой смерти, Влада? Ты совсем чокнутая? Тебе нужна скорая помощь. Ты истекаешь кровью!

Она страшно рассмеялась:

– Какие бредни! Да эти вожатые не способны никому помочь, да и плевать им на нас. Ты наивная дуреха, если доверяешь чужим людям. Мне не нужна помощь, все со мной хорошо. Я это с двенадцати лет делаю, и ничего со мной не случилось. Ничего в этом нет опасного. Я знаю, как не задеть важные для жизни артерии.

– Пусть они решают, опасно или нет.

Я попыталась выдернуть рукав, но она вцепилась еще крепче.

– Комильфо, ты же обещала! Это же прописано в наших заповедях! Ты представляешь, что они мне сделают?

– Ничего они тебе не сделают, они тебе помогут!

– Они меня выгонят! Выгонят!

– Ну и пусть выгонят. Можно подумать. Вернешься себе в свой Петербург, и все будет хорошо.

– Я не хочу! Не хочу домой! – Влада выпустила мой рукав и заметалась по туалету как зверь по клетке. – Я не могу туда возвращаться! Если меня выгонят, моя жизнь кончена! Мой отец... Нет, ты не понимаешь, ты никогда не поймешь! Мне крышка!

Остановилась у стены и принялась биться головой о кафель.

– Что твой папа? – спросила я с опаской.

– Да никакой он мне не папа, он мой отчим! Я от него сюда сбежала не для того, чтобы обратно возвращаться!

– Что он тебе сделал? И где твоя мама?

Тут Аннабелла стала еще больше похожа на фурию и взревела:

– Какое твое дело, сволочь поганая? Ты же поклялась не задавать вопросы о моем прошлом!

Я перестала что-либо понимать и ничего больше не чувствовала, кроме дикого раздражения и саднящей боли в виске. Я знала только, что не хочу оставаться единственной свидетельницей этой драмы.

– В тебе сидит стукачество, и ты только и ждешь момента, чтобы подмазаться к вожатым за наш счет! – разыграла Влада последний козырь. – Валяй, иди ябедничай. Тебя погладят по головке и дадут шоколадку. Только знай, что если меня выгонят, я в самом деле себя убью, и это будет на твоей совести.

Я посмотрела в зеркало над умывальником. Все пальцы у меня были в крови, а по левому виску, от линии волос до уха, пролегла царапина. Я оторвала кусок туалетной бумаги и прижала к голове. Я как будто выпрыгнула из собственного тела и наблюдала за всем этим бредом с высоты потолка.

На потолке горела безжалостная неоновая лампа, и многочисленные трещины на белой краске причудливо складывались в контуры повозки, запряженной двумя лошадьми, в вечном движении стремящимися в никуда.

“Спи сладким сном, не помни о прошлом. Дом, где жила ты, пуст и заброшен”, – искаженно и скрипуче раздавалось из наушников.

Дюк и соратник его, Фриденсрайх фон Таузендвассер, из последних сил хлестали лошадей. Полная луна заволоклась тучами, и непроглядная тьма опустилась на благословенный край Асседо.

– Делай что хочешь, – сказала я Аннабелле. – Можешь самоубиваться. Но я иду звать мадрихов.

Повернула ключ и открыла дверь ванной.

Глава 16

Черный ящик

Я потащила вверх по холму, прижимая клочок туалетной бумаги к кровоточащей царапине и плохо представляя себе, где искать вожатых в шесть часов вечера среды – время, когда мы обычно были предоставлены самим себе.

Сумерки окутали Деревню. Стало пасмурно и пусто. Все будто вымерло, сочные цвета поблекли, и вдруг стало ясно, что слишком быстро наступила осень, которая столь же быстро сменится зимой.

Внезапно подул сильный ветер, и стена дождя обрушилась мне на голову. В Иерусалиме дождь всегда приходит внезапно, как и сумерки. И резко холодает.

Я быстро забежала в пустующее здание, где собирались директора и начальники всего в Деревне. Из щели под одной незахлопнутой дверью лился свет, и изнутри были слышны голоса. Наверное, там проходило совещание или педсовет.

В нашей группе давно ходили страшные слухи о том, что воспитательская команда где-то заседает раз в неделю по средам с таинственным и ужасным психологом, которого никто никогда не видел. Говорили, что на этих заседаниях обсуждают всех нас, перебивая косточки и решая наши дальнейшие судьбы. Говорили, что если твое имя всплывет на этих совещаниях, то самое время садиться на чемоданы и отправляться к кошмарному Антону Заславскому в главный штаб программы “НОА”.

Но я не верила этим сплетням, потому что полагала, что у воспитателей в свободное от нас время есть дела поважнее, кроме как сплетничать о детях. К тому же, в отличие от остальных, я была лично знакома с Антоном Заславским, а он не только не был кошмарным, а совсем даже наоборот – чудесным человеком и бардом.

Честно говоря, я не знаю, почему я так поступила, но Судный день давно прошел, и было поздно просить прощения. Быть может, меня оправдывает то, что я, как говорил Виталий, объясняя нам про подростковые конфликты, находилась в состоянии аффекта.

Аннабелла совершенно сбила меня с толку, и, несмотря на отчетливое намерение обо всем рассказать вожатым, я решила, что ничего страшного не произойдет, если я расскажу им об этом через две минуты, через пять или через полчаса.

Короче говоря, я очень тихо подошла к той полуоткрытой двери, из-за которой доносились знакомые голоса, и, спрятавшись в стенном проеме, прислушалась к разговору.

Иногда я думаю, лучше бы никогда в жизни его не слышала, а иногда – какое счастье, что услышала.

В кабинете в самом деле был психолог. И они в самом деле нас обсуждали. И не только нас.

Присутствие психолога я вычислила по фразе Фридошки:

– Я, конечно, никакой не психолог, – с некоторой обидой говорила она, – но даже мне понятно, что там не все понятно.

– Я согласен с Фридой, – поддакнул Тенгиз. – Хоть я тоже не психолог.

– Вы их знаете намного лучше любого психолога, – сказала какая-то женщина, чей голос тоже показался мне знакомым, но я не сразу догадалась откуда. – Ваши суждения по определению не могут быть ошибочными. Что вас так беспокоит?

– Можно я скажу? – вмешалась Милена, которая вообще непонятно что делала в Деревне на каникулах. – Она блестящая ученица и все схватывает на лету без усилий. У нее богатейшая эрудиция и высочайший интеллект, но она так занята своей внешностью, что это не позволяет

ей сосредоточиться на занятиях, и ее оценки ползут вниз. Кроме того, ее отношения с Артемом кажутся мне разрушительными. Это опасно.

– Для кого опасно? – спросила незнакомая женщина. – Для мальчиков?

– Для нее самой в первую очередь, – мрачно сказал Тенгиз незнакомым голосом.

– Как ты себе это представляешь? – спросила незнакомая женщина знакомым голосом. – Какой образ возникает в твоей голове?

– Да никак не представляю. Ее могут использовать. Она на все готова ради мужского внимания. Она себя как будто наказывает. И что-то скрывает, хоть и идет на формальный контакт. Мне страшно за эту девочку. У меня нет никаких подтверждений. Интуиция это.

– У тебя прекрасная интуиция, Тенгиз, которая никогда еще тебя не подводила, и к ней стоит прислушаться. Что у нее в анамнезе?

– Мы не психологи, – буркнула Фридошка. – Говори человеческим языком, Машенька.

И тут я все вспомнила! Это была та самая психолог Маша, которая меня интервьюировала на экзамене. Я чуть не вскрикнула от прозрения.

– Прошу прощения, – сказала Машенька. То есть психолог Маша. – Я хотела спросить, что нам известно о ее семье.

– Ее отчим преподаватель фоно в каком-то музучилище в Питере, – ответила Фридошка. – Очень приятный и интеллигентный мужчина. Я с ним пару раз связывалась. Он всегда задает много правильных вопросов, интересуется деталями: как кормят, что учат, какие оценки, как успехи и все такое. И всегда добрые слова о нас говорит, как он нам благодарен, как на нас полагается, как в нас верит. Заботится о любимой доченьке.

– А мама?

– Нет у нее мамы. Она, по-моему, лишена родительских прав. Отчим ее сам воспитывал.

– Почему лишена? И где ее родной отец?

– Откуда я знаю? Это ваше дело, на отборах выяснять.

– Что говорят девочки из ее комнаты?

– Ничего не говорят. Разве от них чего-нибудь добьешься, кроме “окей”?

– Поспрашивайте у них, может, они что-нибудь знают.

– Я спрашивала, – сказала Милена. – Молчат как бункеры.

– Что же вы предлагаете?

– Я не знаю, – сказал Тенгиз. – Я не понимаю, зачем вы ее приняли. Я бы уже вчера отослал ее домой.

– Стоп. – В голосе психолога Маши зазвучали недовольные нотки. – Откуда такая спешка? Девочка ничего не совершила, а сразу “домой”. Еще и двух месяцев не прошло, вы толком не познакомились с ребятами.

– Ты видела эту девочку? Не видела, – ответила Фридошка самой себе. – Ты, Машенька, здесь бываешь от силы раз в неделю. Если бы на твоей шее круглосуточно сидели двадцать детей, ты бы не рассуждала о спешке, а делала бы выводы и принимала меры.

Маша заняла оборонительную позицию:

– Я затем и приезжаю к вам раз в неделю, чтобы оберегать вас от скоропалительных выводов и необдуманных мер. Давайте все взвесим, обсудим как следует...

– Давай ты с ней встретишься, – предложил Тенгиз.

– Давайте мы сперва всех ваших звезд обсудим, а потом решим, кого в первую очередь ко мне направлять. Будем считать, что Влада на учете. А пока присматривайте за ней и, если что, сразу звоните. У нас осталось пятнадцать минут. Кто еще вас заботит?

– Натан, – сказала Фридошка.

– Что с твоим Натаном приключилось? – удивился Тенгиз. – Да он сильнее всех этих сотрясателей бицепсами. Внешний вид обманчив. Давайте лучше поговорим об Арте. Он мне

жить не дает. У меня двадцать человек в группе, а девяносто процентов времени я занимаюсь одним Артом. Давай ты, Маша, на него тоже посмотришь.

– Может, хватит об Арте? – возразила Фридошка. – Мы на этого хулигана и тут постоянно тратим все драгоценное время.

– Что там с Артом? – насторожилась психолог Маша. – Что он опять натворил?

– Перед праздниками поругался с местными на теннисном корте. За день до этого обматерил математичку, которая ни слова по-русски не понимает. В прошлую субботу я нашел в его комнате пустую бутылку лимонного “Кеглевича”, и я даже не знаю, с кем он ее распил.

– Это же кошмар, – сказала Милена. – От этого пошла тараканы мрут.

– Давайте лучше о Натане, – настаивала Фридошка.

– Слушайте, – заявила психолог Маша, – мне кажется, что помощь нужна именно Артему, а не Владиславе. Он буквально взывает о помощи, а мы не слышим, а только его ругаем. Да, он вызывает агрессию, но, видимо, никто не научил его другим методам транслирования трудностей адаптации.

– Я не могу это слушать, – пробурчала Фридошка. – Лучше переходи на иврит, вместо того чтобы ломать язык. А еще лучше, отбрось свою заумную психологию и вспомни о здравом смысле. Ему нужна никакая не помощь, а хороший пинок под зад.

– Как ты можешь так говорить о детях! – возмутилась психолог Маша. – Назначьте мне встречу с Артемом. Владислава может подождать.

– Я хочу сказать за Натана, почему никто меня не слышит? – снова взялась за свое Фридошка.

– Я тебя внимательно слушаю, – заверила ее психолог Маша.

– Печальненький он какой-то в последнее время.

– И злобный, – заметила Милена.

– Вы же говорили, что он цветет, пахнет и счастлив вернуться в Иерусалим, – сказала психолог Маша.

– Сперва цвел, а потом скис, – взгрустнула Фридошка. – Такой мальчик! Такое золотце! Может, и его тебе показать, Машенька? Он разговорчивый и входит в контакт за пять секунд. Он тебе сразу понравится.

– Я думаю, это неразделенная любовь, – вдруг заявила Милена. – Поэтому он страдает. Я насторожилась, но Тенгиз наглым тоном пресек обсуждение Натана:

– На психолога есть еще кандидаты.

– Как, например, кто? – спросила Фридошка. – Сонечка, которая находит общий язык с местными быстрее всей русской алии, вместе взятой? Нам всем стоит у нее поучиться социальным навыкам.

– Как, например, Зоя Прокофьева, которая Комильфо, – неожиданно выдал Тенгиз.

Тут я чуть не сдохла и совсем слилась со стенкой.

– Зоя! – многозначительно согласилась Милена.

– Ох, да, – вздохнула Фридошка.

– Напомните мне, пожалуйста, кто такая Зоя, – попросила психолог Маша. – И если с ней все комильфо, зачем тратить на нее время?

– С ней не все комильфо, это кличка такая, – объяснил Тенгиз. – Очень прилипчивая. Я теперь иначе ее называть не могу.

Милена и Фридошка согласились.

– Неуважительно называть детей прозвищами, – пожурела их психолог Маша. – Это нарушение границ.

– Она сама себя так называет, – сказал Тенгиз, – и ей нравится. И я не считаю, что прозвища – это неуважительно. Иногда имя, которое ты сам себе избрал, важнее того, что дали тебе при рождении.

– Ладно, – не стала спорить психолог Маша, – пускай будет Комильфо. Кто же она такая?
– Девочка из Одессы, которая живет в своем мире и ничего вокруг не замечает.
– А у нее что в анам... я имею в виду, в семье?
– Все у нее хорошо в анамнезе, – ответила Фридошка. – Полная семья. Адекватные родители, бабушка и дед. Хорошие люди, я точно знаю – разговаривала с ее бабушкой по телефону. Она дала мне рецепт котлет. Слушайте, это не котлеты получились, а песня! Но сама Зочка котлет не ест.

– Почему она сюда приехала?
– Кто ее знает? – опять разозлилась Фридошка. – Вы ее принимали, а не я.
– Вы хоть с ребенком поговорили? Выслушали? Поинтересовались мотивами?
– Знаешь что, Машенька, давай ты мне не будешь рассказывать, как разговаривать с нашими деточками. Я ее и так и этак трясла – не идет на контакт. Она очень подозрительная и колючая. Замкнутая. Я не способна ее понять. Это черный ящик, а не девочка.
– Совершенно верно, – подтвердила Милена. – Я тоже пыталась с ней поговорить. Ничего не вышло.

– Может, у нее трудности с женскими фигурами? – предположила психолог Маша.
Я опустила глаза и посмотрела на свою фигуру. Конечно, у меня были с ней трудности. После стольких лет в секции акробатики “трудности” – это еще легко отделалась. Но к фигурам других женщин и девушек у меня никогда никаких претензий не было.

– Тенгиз, может, ты ее разговоришь? – осторожно предложила Милена.
– Хорошая идея, – поддержала ее психолог Маша. – Поговори с ней.
– Я с ней разговариваю, – сказал Тенгиз. – Пытаюсь, во всяком случае. Она оказалась здесь первой и сразу пришлась мне по душе. Первенцы – они такие, никто их потом не заменит. Да и сама Комильфо сперва неплохо меня воспринимала. Но я совершил ошибку – однажды ее наказал, в самом начале года. По делу, но с тех пор она меня чурается.

– По какому делу?
– Они вместе с Натаном шлялись по городу без разрешения, опоздали к урочному часу.
– Почему ты мне ничего не сообщил?! – возмутилась психолог Маша. – Или хотя бы Виталику?

– А что бы вы сделали? Отправились бы их искать? Она не должна была так поступать, но это она не со зла, а потому что город сразу ее захватил, это очевидно было. Наказывать ее, честно говоря, сердце болело. У нее глаза горели, когда она вернулась. Вы ее в правильное место определили. Это ее город, точно вам говорю, она здесь останется, вот увидите.

– Не будем умалять твои способности, Тенгиз. Ты и до стенки достучишься, – снова вмешалась психолог Маша. – Я уверена, что ты с Зоей прекрасно поладишь.

– Может, и полажу, но тут требуется нестандартный подход, а у нас же границы.
– Да ради бога! – фыркнула психолог Маша. – Границы внутри, а не снаружи. Удели этой девочке время. Раз ей так понравился Иерусалим, сходи сам с ней на прогулку, купи ей фалафель, покажи ей свой любимый город, чтобы она его увидела твоими восторженными глазами.

Тенгиз ничего не ответил. Я услышала, как кто-то застучал каким-то предметом по твердой поверхности. Может быть, ручкой. Или ногтем. Как будто отмеряя удары моего собственного сердца.

– Странная она девочка, – тихо сказала Милена.
– В каком смысле?
– В смысле – не от мира сего, – повысил голос Тенгиз. – Вместо сверстников интересуется гардемаринами и памятниками...
– Памятники! – пришло озарение к психологу Маше. – Я ее помню! Я проводила с ней собеседование на экзамене. Да, точно! Действительно странная, но творческая натура. У нее

сочинения по картинкам чудесные были, очень креативные, но эмоционально перегруженные. Вразрез с ее склонностью при встрече лицом к лицу изолировать...

– Машенька! – перебила Фридошка. – Давай по-русски.

– Я не хотела ее принимать.

– Зачем же взяла?

– Другие члены комиссии настояли, – объяснила Маша. – Кому-то понравился папа, кому-то – ее аккуратные треугольники и высокий интеллект, а кто-то еще был в восторге от того, что на групповом задании она ни с кем не соглашалась, стойко держалась за собственное мнение, достойно аргументировала, но при этом была умеренна в своей агрессии. Я помню наше обсуждение. Мы даже за обедом ею занимались. И по дороге домой, в самолете, опять засомневались. В итоге мне пришлось согласиться с мнением большинства.

Признаться, мне польстило, что психолог Маша меня помнила и так долго обсуждала. И про натуру тоже польстило, про стойкое мнение и про прекрасные треугольники.

– Может, стоит поскорее найти ей приемную семью, чтобы она почувствовала тепло и заботу? – предложила психолог Маша.

– Да у нее тут родные бабушка, дедушка и тетя живут, с маминой стороны, – заявила Фридошка. – Пять автобусных остановок от нас, в Рехавии. Репатрианты семидесятых. Бабушка с котлетами все спрашивала, почему Комильфо с ними не связалась, мол, они ее ждут. Да и сами родственники звонили, хотели приехать, познакомиться с Зоей.

– Почему же не приехали? – спросила Маша.

– Она отказалась. Говорит, не готова.

– Но почему?

– Почему, почему! Ты же психолог! – снова возмутилась Фридошка. – Я тебе говорю, что она закрытая, диковатая и обозленная.

– Тенгиз, так как тебе идея с ней погулять? – вдруг вспомнила психолог Маша.

– Не нравится, – отрезал Тенгиз.

– Почему? Ты всерьез беспокоишься о нарушении границ? Ты хочешь об этом поговорить?

– Нет, не очень. – Тенгиз сам сделался диковатым и обозленным. – Мы меня обсуждаем или Комильфо?

– Обсуждая наших подопечных, мы всегда обсуждаем самих себя, – нравоучительно произнесла Маша. – Какие чувства у тебя вызывает эта девочка? Какие ассоциации? Какие...

– Маша, – прервал ее Тенгиз, – ты хороший психолог, но давай ты не будешь меня лечить.

В тот момент я напрочь позабыла про Аннабеллу, про потрясение, про кровь на собственном лице и боялась упустить даже паузу из этого разговора. Он казался мне важнее всего остального на свете. Сгорая от жгучего любопытства и от не менее жгучего стыда, как если бы я подглядывала в спальню собственных родителей, я одновременно хотела и не хотела услышать продолжение, но не смогла бы отклеиться от стены, даже если бы от этого зависило мое будущее в программе “НОА” и будущее вообще.

– Тенгиз, – с непоколебимой уверенностью сказала психолог Маша, – я вовсе не собираюсь тебя лечить, но предлагаю проверять те чувства, которые вызывают в нас ребята, чтобы найти к ним верный подход. Как можно познать другого человека, если не через наблюдение за теми движениями души, которые происходят в нас при встрече с ним? Тем более если речь идет о девочке, которая своими эмоциями не делится. Я доверяю твоей интуиции больше, чем всем психологам, вместе взятым.

Тенгиз шумно перевел дух:

– Комильфо очень нужна поддержка. Она одинока, и ее захлестывают эмоции, но не доверяет, отталкивает. Все время пытается выйти на конфликт. Там много... как это у вас называется? Когда злоба внутри, а не снаружи.

– Пассивная агрессия, – подсказала психолог Маша.

– Она с мужчинами лучше ладит, чем с женщинами. Она и к Антохе, который ее встречал, тут же привязалась, – вспомнила Фридошка.

– Ну, замечательно! – обрадовалась психолог Маша. – Она способна привязываться к взрослым мужским фигурам. Это же здорово – способность к привязанности! Почему ты это не используешь, Тенгиз, во благо Зои? Ты же можешь ей подарить такой замечательный опыт прочной связи вдали от дома!

Мне трудно было понять, зачем Тенгиз позволяет психологу Маше на себя наезжать, но он больше не проявлял никаких признаков сопротивления.

– После бесед с ней у меня такой осадок остается, будто меня заплевали. Очень много энергии отбирает. Чтобы до нее достучаться, приходится наизнанку выворачиваться...

Когда Тенгиз это произнес, я сама почувствовала, будто меня заплевали. С ног до головы. А потом размазали.

– Да, я понимаю, как это тяжело, – с сочувствием проговорила психолог Маша. – Вероятно, она с тобой общается через твое бессознательное, вместо того чтобы говорить прямо, что ей нужно и чего она хочет. Это очень затратно, особенно для такого чуткого человека, как ты. Но ведь это говорит о том, что, несмотря на свои шизоидные линии, Зоя не отказалась от надежды на близкие отношения. И для нее это прекрасный шанс! Как ей повезло, что ты ее воспитатель! Ты можешь временно заменить ей отца. Я не сомневаюсь, что ты прекрасный отец.

Моему возмущению не было предела. Я вовсе не собиралась оплевывать Тенгиза, выворачивать его наизнанку или общаться с его бессознательным. Я понятия не имела, о каких таких линиях говорила психолог Маша, но их название мне не понравилось – отозвалось словами Арта о том, что я шиза. Мне стало мерзко. Я снова ощутила тошноту, к которой прибавилось головокружение, и уже опять готова была воспарить к потолку, но тут ощутила, что воздух в кабинете, которого я не видела, раскалился добела.

Мне не следовало подслушивать. Мы не должны знать, что на самом деле думают о нас наши родители. Иногда намного лучше представлять, что они не думают о нас вообще.

– Машенька, – осторожно заметила Фридошка, – разве наше время не подошло к концу?

– В нашем распоряжении еще три минуты, – как ни в чем не бывало ответила психолог Маша. – На чем мы остановились? Да, мы говорили об отцовских фигурах.

– Я опоздаю на автобус, – еле слышно пробормотала Милена. – Они редко ходят. Мне нужно идти.

– Стоп, – снова насторожилась психолог Маша. – Погодите. Что я такого сказала? Что сейчас произошло?

Все молчали, как в гробу. Я не видела их лиц, но можно было почувствовать, как присутствующие спрятали глаза.

– Ей что, никто не рассказал? – спросил Тенгиз глухим голосом. – Не верю.

– Что вы мне не рассказали? – Голос психолога Маши вдруг стал очень встревоженным. – Что это за слон появился в кабинете?

Все опять умолкли.

– Нет ничего хуже непроговоренной темы, – лекторским тоном произнесла Маша. – Можно подумать, что тема исчезнет, если о ней не говорить.

– Не надо, Машенька, – ласково попросила Фридошка. – Не обо всем следует говорить.

– Конечно следует! Конечно обо всем! Какой пример мы подаем нашим замкнутым и подозрительным подросткам, если сами боимся касаться болезненных тем?

– Маша... – еле слышно пробормотала Милена, – я правда должна бежать. У меня через десять минут автобус в Неве-Яков, а на улице ливень. Следующий только через полчаса.

– А у меня семейство не кормлено с обеда, – поддержала учительницу домовая. – Все голодные как волки. Давайте разойдемся.

Я не понимала, что происходит, но меня захлестнула необъяснимая тревога. Стало трудно дышать. Как будто я сама находилась в кабинете, из которого выкачали весь воздух.

– Что вы от меня скрываете? – Психолог Маша вдруг стала очень нечувствительна к намекам. – Что вы от себя скрываете? Нельзя заканчивать встречу на такой ноте. Мы не подвели итоги.

– Маша! – с негодованием вдруг вскричала Фридошка. – Ты же психолог!

– Но я не ясновидающая! – не выдержала Маша.

– Никто ничего не скрывает, – сказал Тенгиз. – В самом деле, человек вот уже два месяца с нами работает и ничего о нас не знает. Нечестно это. Да и какой смысл работать в потемках? У меня дочка в теракте погибла. В восемьдесят девятом. В мае. Когда мы на поселениях жили. Ни для кого это не секрет. А то, что никто об этом не говорит, так это они за меня боятся. Но я не сахарный, не растаю. Можно подумать, я и так не вспоминаю каждый день, час и минуту. Ты права, Маша: лучше говорить, чем громко молчать. Ей было пятнадцать лет.

Тишина повисла в кабинете и вне его. Только дождь барабанил по крышам. По окнам. По пальмам. По гранатовым деревьям.

– Тенгиз... – нарушила молчание психолог Маша, и произнесла это так, как будто хотела вложить в его имя всю свою душу и логику, но ей едва ли удалось, поскольку это противоположные понятия.

– Не переживай ты так, Маша, – продолжил Тенгиз. – Прости, я не хотел тебя расстраивать. Я с этим живу. Как же иначе? Работаю с детьми, чтобы заполнить пустоту. Да? Так это психологически правильно объясняется? Наверное, я ощущаю вину. Я ее не уберег. Я ей позволял ездить автостопом в Иерусалим, отпускал за ворота нашего поселения, а теперь компенсирую потерю за счет работы с детьми. Верно?

– Тенгиз... – начала Маша.

– В общем, все это, конечно, верно, – сам себе ответил Тенгиз, – но не со всеми подростками получается компенсировать. С теми, которые, как назло, каждый раз вслух говорят, что родитель из меня никудышный, сложнее всего. Вот и вся премудрость.

Все опять притихли. Слушали дождь. Шуршала листва. Лилась вода по мандаринам, розам, бугенвиллеям и другим неопознанным растениям.

Кажется, я осела на пол, но я не уверена. Плохо помню. Я попыталась подумать о Дюке, который всегда вытаскивал меня из всевозможных пучин, но над Потемкинской лестницей возвышался граф Воронцов и гремел цепями.

Я подумала о моей вымышленной истории, длиною в жизнь, о сказке в чулане, которая всегда меня спасала, в которую всегда можно было удрать. Неудержимо захотелось взяться за тетрадку и ручку и написать о том, что происходит где угодно, но только не здесь. Придумать себя заново. И все вокруг. И этого чужого Тенгиза, с которым я была знакома от силы два месяца, но для которого я стала первенцем. И как будто в тот момент что-то привязало меня к нему с такой силой, словно невидимая рука забросила наугад тяжелый якорь, а он застрял в зазубренном рифе, неизвестно откуда восставшем в моей груди. А может, я осознала это намного позже.

Однажды, некоторое время спустя, психолог Маша скажет, что у меня есть склонность к диссоциированию. Это значит, что в моменты потрясения срабатывает защитный механизм, который отвлекает меня от слишком тяжелого переживания и отшвыривает в не-здесь. Чтобы защитить мою психику от слишком сильных эмоций. Слишком непереносимых.

И впрямь, как можно существовать в действительности, в которой одни девочки по своей воле режут свои собственные бедра, а другие, вовсе этого не желая, погибают в терактах?

В таком мире я не умела жить. Никто меня этому не научил. Все это было несправедливо, безумно и бессмысленно.

И как можно было рассказать Тенгизу о том, что его подопечная себя режет, если он не уберег от смерти свою родную дочь? Нет, к такой несправедливости я была не способна. Я сама восстановлю справедливость.

– Тенгиз, – совершила психолог Маша третью попытку вмешательства. – Как звали твою дочь?

– Зита, – ответил Тенгиз.

Глава 17

Девятая заповедь

Когда стулья заскрипели, сообщая о намерении сидевших на них людей покинуть кабинет, я стремглав отбежала в дальний темный угол коридора в здании директоров и начальников.

Первой из кабинета вышла Милена – раскрыла зонт и поспешно удалилась в дождь, хлопая клоунскими башмаками. За ней на улицу выбежала Фридошка, завернувшись в шерстяную шаль.

Затем на пороге появились Тенгиз и психолог Маша. Такая она была субтильная, как будто никогда и не ходила беременной. Она застегнула куртку, натянула капюшон, достала из сумки связку ключей, но, словно не решаясь выйти в непогоду, засунула руки в карманы и принялась дрожать от холода, выстукивая зубами и ключами дробь.

Тенгиз возвышался над ней как телебашня, отчего психолог Маша выглядела совсем пушинкой, готовой оторваться от земли при первом дуновении ветра, и мне трудно было представить, как она может кого-то лечить с такой шаткой комплекцией.

– Не нужно ли нам с тобой поговорить с глазу на глаз? – осторожно спросила психолог Маша, высматривая что-то в ливне.

– Зачем? – спросил Тенгиз.

– Может быть, тебе бы хотелось... проработать... поделиться с кем-нибудь... просто не оставаться наедине... Ты когда-нибудь ходил на психотерапию?

– И не собираюсь, – ответил Тенгиз. – Хотя мне и не раз предлагали – от министерства обороны, как члену осиротевшего семейства, мне ведь полагается.

– Жаль, – вздохнула психолог Маша. – Ты не веришь в эффективность психологической помощи?

– Верю, – ответил Тенгиз. – Но не люблю, когда со мной разговаривают на этом вашем жаргоне, как будто я статистическое данное. Бесчеловечно это. Далеко и бессмысленно. Все психологи одинаковы. Думают, что только им известно, как все в человеке должно работать.

– А где твоя жена? – спросила психолог Маша.

– Мы довольно быстро разошлись. – Тенгиз щелкнул зажигалкой. – Невозможно было вместе жить после такого. Ну представь, как тут проживешь, если каждый день начинается с вопроса “кто виноват?”. Она вернулась в Батуми. Так лучше.

Психолог Маша снова вздохнула, и ее зубы застучали еще чаще.

– Что это мы все обо мне? – Тенгиз пустил облако дыма в холодный воздух. – Давно ты работаешь психологом?

– При чем тут я? – замялась Маша. – Здесь важен ты, потому что от твоего благополучия зависит благополучие наших ребят. А моя личность в данном случае никакой роли не играет.

– Вот именно поэтому я никогда и не обращусь к психологу, – заявил Тенгиз. – Езжай домой или куда там тебе. Поздно уже. Мне скоро на смену заступать. Пять человек остались, но это все равно что двадцать. Чем их меньше, тем их больше.

– Я интерн, – вдруг сказала психолог Маша. – Это третий год моей клинической интернатуры.

– Совсем зеленая, – усмехнулся Тенгиз. – Но в терминах шарிшь. Зачем тебе все это?

– Я хочу помогать людям, находящимся в кризисных ситуациях. Я верю, что...

– Да ну брось. Зачем оно тебе?

– Да так, – в третий раз вздохнула психолог Маша. – Я недобрала баллов, чтобы поступить на медицинский, с математикой у меня вечно были нелады. Вообще-то меня всегда тянуло в

искусство, но мои родители не хотели, чтобы я становилась художницей. А учителя слишком мало зарабатывают.

– Видишь, как все просто, – усмехнулся Тенгиз. – Не надо мудрить. Родители всегда виноваты, а работа с людьми – это вид искусства.

– То же самое говорит мой мадрих, – сказала психолог Маша.

– Про родителей?

– Про искусство.

– У тебя тоже есть мадрих? – удивился Тенгиз. – Я думал, это привилегия детей и подростков.

– Супервизор. У каждого психолога должен быть мадрих. Вообще у каждого человека должен быть мадрих.

– И кто твой супервизор?

– Ты его знаешь, раз работаешь в программе “НОА”. Он наш главный психолог.

– А! Ну конечно знаю. Кто ж его не знает. Хороший мужик. Теперь я спокоен. Ты в надежных руках.

– Не спорю.

– Вот и хорошо. Езжай домой. Наше время подошло к концу.

– Ты ни в чем не виноват, – неожиданно выдала психолог Маша. – Я знаю, что тебе так не кажется, и все равно ты ни в чем не виноват. Иногда судьба это просто судьба.

– Откуда ты знаешь? – спросил Тенгиз странным голосом.

– Знаю, – ответила психолог Маша. – Некоторые вещи я просто знаю.

– Ясно, – задумчиво протянул Тенгиз.

– Пока, – сказала Маша. – Если что, я всегда здесь. Помни об этом.

– Помню.

Маша растворилась в ливне, а Тенгиз все стоял, прислонившись к дверному косяку, и курил. Выстрелил окурком в ночь, а потом закурил еще одну сигарету. И еще одну. Я думала, это никогда не закончится и мне суждено остаться ночевать в здании директоров.

После четвертой сигареты Тенгиз выключил свет в кабинете, запер его на ключ, затянул шарф на шею и наконец удалился.

Я подождала пару минут. Потом вышла из своего укрытия. Подобрала окурки, которые он выбросил, и выкинула в урну.

Дождь лил как из ведра, и я побежала обратно в общежитие, прикрывая голову руками.

Я твердо знала, что нашу девятую заповедь не нарушу – Тенгиз не должен ничего знать. Я больше не думала о Владе, я думала о нем.

Аннабелла уже не слонялась по комнате, а чинно сидела на стуле у своего стола, нарядившись в стильный черный спортивный костюм.

Ее взгляд опасливо нашаривал кого-то за моей спиной. Видимо, она ожидала, что вся воспитательская команда Деревни ворвется следом за мной в комнату со смиренными рубашками и шприцами. Ее страшно удивило, что я вернулась одна.

– Где они? Ты что, никого не нашла?

– Никого не нашла.

На какой-то миг мне показалось, что у Аннабеллы разочарованное выражение лица. Но оно моментально сменилось ожидаемым облегчением, так что, должно быть, мне померещилось.

– А завтра? Ты им расскажешь завтра?

– Ничего я никому не расскажу. Очень мне надо, чтобы ты самоубилась.

– Да не собираюсь я самоубиваться, – флегматично произнесла Аннабелла, достала из ящичка стола пилочку и принялась как ни в чем не бывало подпиливать уголок изящного

ногтя. – Не надо мне верить. Я всегда рассказываю страшные истории, когда мне плохо, но это просто мое воспаленное воображение.

– Ты резала себя, – сказала я, не позволяя, чтобы меня сбили с толку. – Я видела, как ты себя резала бритвой. Я все еще способна отличить воображение от реальности.

На самом деле в данный момент я вовсе не была в этом уверена.

– Это не называется “резать”. Фу, какое противное слово. Это кровопускание – очень действенный метод. Ты же читаешь книжки, Комильфо! Когда-то врачи считали такой способ панацеей от всех проблем. А то, что сегодня так не считают, так это только потому, что наука всегда связана с идеологическими тенденциями и модой и научные выводы меняются без всякой связи с реальным положением дел. Вот, например, когда-то девушки выходили замуж в четырнадцать лет, а сегодня это вне закона. Так что это значит? Что девушки за двести лет поменялись? Ничего подобного. Просто мода изменилась. Вот и все. Пройдет еще сто лет, и все опять станут жениться в четырнадцать и пускать себе кровь, когда болеют.

В словах Аннабеллы было разумное зерно. В самом деле, в моих любимых книгах врачи любили пустить кровь бледным дамам, изнемогающим от недугов душевных и физических.

– Я не ненормальная. – Аннабелла почувствовала во мне понимание. – Сама подумай. Если столько людей в течение стольких лет так поступали, разве может быть, что они кругом ошибались?

– Не знаю, – честно призналась я. – Ты меня напугала.

– Это ты меня напугала, – сказала Аннабелла своим обычным надменным тоном. – Где это видано так врывать к человеку в личное пространство? Ты сломала окно в туалете. Что мы теперь будем делать без окна?

Приходилось признать, что метод Аннабеллы работал: от ее недавней хандры не осталось и следа.

– Починим окно, – сказала я. – Ты точно больше не хочешь умереть?

– Я же тебе говорю, что никогда не хотела умирать. Почему ты мне не веришь?

– Потому что я тебя совсем не знаю и ты полна сюрпризов. Если бы ты видела себя час назад, ты бы сама себе не поверила.

– Все мы полны сюрпризов, – мудро заметила Аннабелла. – Ты просто очень наивная, Комильфо. Я же знаю, что ты большая фантазерка и воспринимаешь любую обыденную мелочь как великую драму и начинаешь строить из себя рыцаря в блестящих доспехах, который всех хочет спасти. Но я вовсе не нуждаюсь в спасении, как не нуждалась в нем и тогда, когда ты с какого-то перепугу наехала на Арта. Так что я прощаю тебе сломанное окно и вторжение в мое пространство, потому что тому виной не ты, а то, что никто тебя не научил разбираться в людях.

В этом тоже был резон. И как бы там ни было, ей все же удалось окончательно сбить меня толку.

– Никого не слушай, – заявила Аннабелла. – Я сама научу тебя жизни. Поверь, я через многое прошла.

– Чему это ты собралась меня учить?

– Ну, например, про мальчиков.

– Что про мальчиков?

– Ты же даже никогда не целовалась.

Я пожала плечами. Это ни для кого не было тайной.

– Так давай я тебя научу, чтобы ты не была застигнута врасплох, когда дело дойдет до настоящего поцелуя, и не начала пинать кавалера ногами, придумав, что он посягает на твою честь или что ты там любишь себе воображать по своим романтическим книжкам.

– Как это? – оторопела я.

– Ну вот так. Иди сюда. Я тебя поцелую.

– Ты опять с ума сошла? Ты же девочка!

– Господи, Комильфо, что за ханжество? Ты что, никогда не читала Анаис Нин? Женская любовь ничуть не хуже двуполой. Хочешь, я тебе дам почитать? Тебе понравится. В свое время она открыла мне целый мир. И “Лолиту” дам.

Можно было подумать, что Аннабелле не пятнадцать лет, а все сорок.

– Ты мне отказываешь? – состроила мне глазки сорокалетняя женщина и взмахнула неухоженным каре. – Ты же час назад читала мне лекцию о том, что все мужики козлы.

Аннабелла протянула ко мне руки, и я застыла на месте, словно меня загипнотизировали. Ее взгляд пронизывал до костей. Мне стало холодно. Я чихнула.

– Я такого не говорила, – запротестовала я. – Я сказала, что Арт козел.

– Комильфо, ты ведь никому не расскажешь про бритву? – ласково прошептала Аннабелла. – Узколобые люди не способны это понять. Они решат, что я больная на голову, но ты ведь понимаешь, что это не так. Что я должна сделать, чтобы ты сохранила мою тайну? Скажи, чего ты от меня хочешь, и я это выполню.

Странной девушкой была Аннабелла, раз ей казалось, что должна платить такую цену за одолжение. Еще более странным было, что она посчитала, будто я интересуюсь ею, как мальчишки. Но я решила не обижаться.

– Влада, я от тебя ничего не хочу. Только помочь, но не знаю как. Может, тебе стоит обратиться к психологу? Знаешь, сюда приезжает одна женщина, ее зовут Маша...

– Никто меня не любит, – прошелестела Аннабелла с глубокой печалью. – Даже ты меня не любишь и хочешь сплавить какой-то Маше. Ты точно такая же, как... мой папа!

– Я уверена, что твой папа тебя очень любит, – сказала я, вспомнив о посылках, которые Аннабелла получала чуть ли не каждую неделю.

– Чушь. Человек, который тебя любит, никогда не позволит тебе уехать из дома.

Тут я подумала о том, что и попытки моего папы воспрепятствовать мне сводились к одной-единственной, и я поверила, что меня тоже никто не любит и что и я никому не нужна, кроме Аннабеллы. Должно быть, моя соседка обладала магической способностью заставлять людей чувствовать то же самое, что чувствовала она сама. Только с Артом ей этот трюк не удавался.

– Эх... – выразительно вздохнула Аннабелла. – Но я не хочу говорить о своем прошлом. Я никому не нужна. Даже тебе, раз ты хочешь, чтобы меня вытурили из нашего нового общего дома. А ведь мы теперь одна семья и ты мне как сестра! Как же ты можешь?

Внутри у меня растекалась черная пустота. Я опять чихнула.

– Кажется, ты заболела, – проникновенно сказала Аннабелла.

И, совершив задуманное, обняла меня крепко. Только непонятно было, дарила ли она мне объятие или пыталась вызвать на ответное. В любом случае я не шелохнулась.

– Что я могу для тебя сделать? – спросила я.

Аннабелла выпустила меня из объятий:

– Позвони Арту.

– То есть как?

– А вот так. Раз ты хочешь мне помочь, позвони ему и скажи, что ты застала меня целующейся с Юрой Шульцем.

– Что?! Зачем?

– Он приревнует меня и сразу поймет, что я ему нужна. Это всегда срабатывает.

– Но я... никогда не общаюсь с Артом. Он знает, что я его терпеть не могу. Он мне не поверит и вообще не поймет, с какой стати я ему звоню.

– А ты придумай что-нибудь.

– Что?

– Да я не знаю. У тебя богатая фантазия.

– Влада...

– Ты же обещала мне помочь! Неужели ты хочешь, чтобы мне опять стало плохо и я опять взялась за бритву?

– Хорошо, я ему позвоню, – согласилась я. – Но кабинет вожатых сейчас закрыт. Не идти же мне к автомату. Там страшный ливень. Можно завтра?

– Я тебе дам зонт. Комильфо, я не могу больше ждать. Мне очень плохо.

И, не дожидаясь дальнейших пререканий, Аннабелла начеркала на бумажке номер телефона, всучила мне карточку, клетчатый зонт и свой фирменный плащ от Берберри.

– Иди скорее, пожалуйста!

Я снова вышла в дождь. Добежала до автомата. Ледяными руками защелкала по кнопкам. Мне ответила пожилая женщина. Я попросила Артема.

– Артемушка, тебе какая-то барышня звонит, – услышала я. – Подойдешь?

– Да, Лариса Яковлевна, – непривычно вежливо отозвался козел. – Я сейчас.

Взял трубку и сказал “але”.

– Арт, это Зоя. – Я попыталась придать голосу отстраненность и деловитость.

– Какая Зоя?

– Комильфо. Из Деревни. Соседка Влады.

Будь я на месте Арта, я сама была бы шокирована.

– Ну? – сказал Арт, справившись с первичным шоком.

– Ну, короче, я тебе звоню по такому делу. Влада и Юра Шульц целовались сегодня вечером в курилке.

– Чего?! Как? Почему? – засыпал меня вопросами рогатый герой-любовник.

– Я случайно проходила мимо и заметила. Я думаю, тебе стоит поскорее вернуться, иначе Влада от тебя уйдет.

– Че... погоди... я не понял... Что, серьезно, что ли?

– Серьезно.

– Да ни фиги не может быть. – Арт понизил голос. – Ты их с кем-то перепутала.

– Я не слепая.

– Ты шизанутая.

Мне хотелось на это ответить, что я очень надеюсь, что Аннабелла... то есть Влада уйдет от него к Юре Шульцу, но сдержалась.

– Мне плевать, что ты обо мне думаешь. Я не ради тебя стараюсь.

– А ради кого?

– Я имею свои виды на Юру Шульца, – заявила я очень доверительно. – Не хочу, чтобы Влада его у меня увела. Вот так вот.

– Так, – сказал Арт в глубокой задумчивости. – Меня не было в Деревне всего одну неделю. Офигеть просто.

– Артемушка, жаркое остывает! – послышалось из далекого далека. – Мы ждем тебя к столу!

– Влада от тебя реально уйдет, если ты ею не займешься, – поспешила я его надоумить. – Позвони ей, что ли. Или пошли ей цветы.

– Цветы?! Да как она вообще могла с этим лошарой...

– Арт, – сказала я самым лицемерным тоном, на который была способна, больно вонзив ногти в свои ладони. – Ты самый нормальный пацан в нашей группе. Это каждому ясно. Юра тебе не конкуренция. Докажи это, вот и все.

– Докажу, докажу, не сомневайся, – злобно сказал самый нормальный пацан. – Спасибо, что просветила. Покедова.

И бросил трубку.

Я вернулась в комнату, промокая до нитки. Ветер искорежил остов клетчатого зонта, вывернув наизнанку. Никакие зонты не выдерживают иерусалимской осени.

– Ну что? Ну как? – бросилась ко мне Аннабелла.

Я вкратце пересказала нашу великосветскую беседу.

И мы стали ждать.

– Давай пойдем спать, – спустя бесконечное время предложила я, зевая и изнемогая от усталости.

Аннабелла выключила свет и залегла на мою кровать.

– Ложись рядом, я не хочу спать одна. Тут слишком холодно из-за сквозняка, который ты учинила. Мы погреемся. Ну что тебе стоит?

Мне это ничего не стоило, кроме нарушенного уговора не посягать на личное пространство каждой из нас, но все заповеди и так были перечеркнуты самой Аннабеллой.

– Ты же сама говорила, что не любишь, когда к тебе прикасаются, – сказала я. – Встань, пожалуйста, с моей кровати.

Но она меня не послушалась,

– Мне нужно человеческое тепло, – заявила Аннабелла. – Мне холодно и одиноко. Ты же обещала мне помогать.

Так что мне пришлось лечь рядом. Аннабелла взяла меня за руку и с силой вцепилась в пальцы. Я так и не поняла, притворялась она или в самом деле была в отчаянии.

Некоторое время я пролежала с открытыми глазами, но потом усталость все-таки преодолела беспокойные мысли и тяжкие сомнения и я, кажется, задремала.

Дверь в комнату распахнулась, а от порыва сквозняка отворилась и дверь туалета. Я зажмурилась от света, лившегося из коридора.

На пороге стоял грозный памятник графу Воронцову, и я испугалась, что он пришел по мою душу.

Но в самом скором времени выяснилось, что это был всего лишь Тенгиз, который явился сообщить Владе, что ей звонит Арт и пусть она возьмет трубку в кабинете вожатых.

Влада перескочила через меня и пулей вылетела из комнаты, босиком.

– Почему вы спите в одной кровати? – громко спросил Тенгиз.

Я сделала вид, что продолжаю спать, но номер не прошел. Ветер гулял по комнате. Вожатый включил свет и прошагал в туалет. Дождь заливал подоконник и занавеску с оленями.

– Как это понимать? – спросил, высунувшись в зияющую дыру оконного проема. – Что здесь происходит?!

Лысина заблестела от воды, и глаза тоже заблестели – недобро.

– Кто сломал окно?!

Я никогда не видела Тенгиза в ярости. А может быть, то была тревога или затянувшееся состояние аффекта.

– Что это за вандализм? Кто посягнул на имущество Деревни? Кто к вам влез?!

– Никто к нам не влез, – поспешила я его успокоить. – Это я сломала окно.

– Зачем?!

– Аннабелла застряла в туалете, и нужно было ее вызволять, – придумывала я на ходу.

– Как это застряла?

– Ну, ключ в скважине заело.

– Ключ, значит, заело.

Тенгиз развернулся и с видом ищейки принялся разглядывать банки, склянки, расчески и диспенсеры на полочках под зеркалом.

Он кивнул на бурое пятно возле унитаза. Мне стало дурно.

– Это кровь, – уверенно сказал Тенгиз.

– Кровь, – подтвердила я. – И что в этом такого?

– Ты с ума сошла?! – заорал вдруг вожатый незнакомым страшным голосом.

Я сделала вид, что очень смущена, и сказала:

– Мы же девочки, в конце концов, у нас бывают... ну... ты знаешь.

Тенгиз опустился на закрытую крышку унитаза, как будто сдучся в одно мгновение. Покреб лысину ногтями.

– Девочки не выдирают створки с мясом. Кто окно сломал, я спрашиваю?

– Я сломала, я уже тебе ответила. Я сильная. Я же бывшая акробатка. Низшей позиции. Наверное, это могло прозвучать смешно. Но не теперь.

– Почему ты не позвала старших, вместо того чтобы окна ломать?

– Я вас искала, но не нашла, – соврала я.

– Никого не нашла? Во всей Деревне?

– Никого.

– Слушай меня, Зоя, ты заплатишь за окно.

– Заплачу, – с готовностью согласилась я. – Сколько окурков мне собрать?

– Не нужны мне твои окурки! – снова рассвирепел Тенгиз, а я вовсе была не рада, хоть столько времени и усилий тщетно потратила недавно, чтобы вывести его из себя. – Просто не попадайся мне больше на глаза.

Я хотела спросить: “Вообще никогда?”, но сдержалась.

Тенгиз резко встал и ударился головой о шкафчик, который висел над унитазом. Он чуть не обматерил шкаф, но тоже сдержался.

Я понимала, что сейчас Тенгизу очень хотелось поругаться со мной, но не могла доставить ему такого удовольствия. Мне было бесконечно жаль его – отсюда до самой Стены Плача.

– Я почию окно, клянусь мамой, – поспешила я успокоить Тенгиза. – Не надо так переживать.

– Да при чем тут чертово окно!

Если бы Тенгиз в гневе встретился мне в одесской подворотне, я бы неслась от него прочь с криками “Караул!”, но сейчас я его не испугалась. Ведь я понимала, в чем дело.

– Вы же взрослые люди! Вас отобрали в эту программу, потому что вы доказали свою самостоятельность и ответственность! Вас что, нельзя оставить одних на два часа? – Тенгиз вдруг внимательно на меня посмотрел. – Что это у тебя на лице?

Я спохватилась и отвернулась.

– Что у тебя на лице, Зоя?

– Я поцарапалась о гвоздь, когда лезла в окно, – снова соврала я. – Ничего страшного, всего лишь ссадина.

Тенгиз, кажется, очень старался взять себя в руки.

– Я не знаю, что ты от меня скрываешь, но это просто глупо. Я же все равно узнаю.

“Не узнаешь”, хотелось мне возразить. Отчасти из сострадания, отчасти назло.

– Зайди в кабинет и продезинфицируй царапину, – приказал Тенгиз. – Немедленно.

Гигантскими шагами покинул комнату. Я пошла за ним.

В кабинете Аннабелла вертела в руках провод телефона, зажав трубку между ухом и плечом, и выглядела так, будто победила в конкурсе красоты. Трудно было поверить, что несколько часов назад она занималась кровопусканием, а потом утверждала, что ее никто не любит.

Тенгиз достал аптечку и всучил мне вату и йод.

– Может, хватит болтать? – со злостью бросил он Аннабелле. – Вы скоро увидите.

– Целую-обнимаю, солнце, – проворковала она в трубку, и ее взгляд счастливо затуманился.

– Кто сломал окно в туалете? – спросил Тенгиз у Аннабеллы. – А ты молчи, – бросил он мне.

– Это перекрестный допрос?

– Тише! Отвечай, Влада.

Аннабелла встала со стула с таким апломбом, словно на ней был не спортивный костюм, а королевская мантия.

– Юра Шульц сломал окно, – заявила Аннабелла. – Он хотел влезть ко мне в комнату, а я его не пускала.

– Юра?! – У Тенгиза глаза на лоб полезли.

– Ну да. Комильфо пыталась ему воспрепятствовать, а он ее ударил. Случайно.

Я потеряла дар речи и ничего больше не могла сказать, ни правду, ни ложь. Аннабелла воспользовалась моим замешательством.

– Помогите Юре, Тенгиз. Он нуждается в моральной поддержке и в психологической помощи.

– Юра?! – Тенгиз тоже готов был потерять дар речи. – Это правда, Зоя?

Все это перестало быть комильфо и превращалось в ужасный, кошмарный моветон. Но Аннабелла кидала на меня такие взгляды, а Тенгиз был настолько выпотрошен и измучен психологической помощью, что я ответила:

– Ну... Юра давно ухаживает за Владой, но она ему отказывает, а он обижается. Он ничего дурного не замышлял. Честное слово. Это недоразумение. Пожалуйста, не ругай Юру! Я сама заплачу за окно, мы же договаривались!

– Ты выгораживаешь человека, который на тебя напал! – загремел Тенгиз. – Ты хоть понимаешь, что это значит?

Отступать было поздно, а с каждым новым шагом я все глубже вязла в трясине.

– Он на меня не нападал, я просто пыталась удерживать оборону окна... – Я чихнула, а потом закашлялась.

– Комильфо, – Тенгиз посмотрел на меня с такой опаской, что мне опять стало его невыносимо жаль, и мне тоже немного захотелось самоубиться, – что с тобой такое? Ты хочешь поговорить со мной?

Я больше всего на свете хотела с ним поговорить и меньше всего на свете этого хотела.

– Все в порядке, – продолжала я врать. – Это всего лишь окно.

– Стойте здесь и не шевелитесь. Я позову Юру.

Тенгиз вышел. Я посмотрела на Аннабеллу, и мне стало очень страшно. Я больше не понимала, чего я боюсь, кого или за кого.

Через пару минут Тенгиз вернулся в сопровождении заспанного Юры с всклокоченными светлыми кудрями на гениальной голове.

– Кто сломал окно? – спросил Тенгиз.

Юра взглянул на меня, потом на Аннабеллу и, должно быть, все вычислил. Недаром он был компьютерным гением. И настоящим джентльменом.

– Я сломал окно, – взял на себя Юра чужую вину.

– Ты ударил Комильфо?

Юра снова посмотрел на Аннабеллу:

– Я ударил Комильфо.

– Случайно, – пришла я ему на помощь.

– Совершенно случайно, – поддакнула Аннабелла.

– Зачем ты это сделал? – спросил Тенгиз.

– Я хотел поговорить с Владой, но она сопротивлялась, так что мне пришлось лезть в окно, а Комильфо просто попала под руку. Я прошу прощения.

– Прощения! – Тенгиз сел на стол. – Вы хотите свести меня с ума?

– Нет! – вскричала я. – Не хотим!

– Я прощаю Юру, – поспешно проговорила Аннабелла. – Я сама виновата, я не должна была запираяться от него в туалете, он всего лишь хотел помочь мне с математикой, а я обиделась на него за то, что он всегда оказывается прав и тычет меня носом в мои ошибки.

– Я не ожидал от тебя, Юра, – сказал Тенгиз строго, но как-то неестественно. – Ты никогда так себя не вел. Что с тобой происходит?

– Любовь, – пискнула я.

Юра бросил на меня благодарный взгляд, и мне стало невероятно досадно, что я никогда прежде с ним не общалась. И что я вообще себе думала, когда оболгала его перед Артом? Юра Шульц был живым человеком, а не каким-нибудь выдуманным персонажем, с которым можно вытворять все что угодно. Неужели я и других людей подобным же образом не замечала?

Меня захлестнула огромная вина, и я готова была перекинуть ее на Аннабеллу, но, в конце концов, разве она заставляла меня что-либо делать? Я сама так решила.

– Поскольку ты никогда прежде не был замечен в хулиганстве и насилии, – продолжал Тенгиз, – и потому что ты признался, считай, что это первое предупреждение. Все будет записано в твое дело. Тебя ожидает беседа с Фридманом, и пусть он тебя наказывает. Но еще один проступок – и ты отправляешься домой без всяких разбирательств, потому что то, что ты сегодня натворил, и так превысило меру дозволенного. Это тебе понятно?

– Понятно, – с достоинством ответил гениальный Юра, а Аннабелла незаметно для Тенгиза послала ему воздушный поцелуй. – Я заслужил.

– А вы, красавицы, впредь не выгораживайте тех, кто с вами так поступает. Нашлись самоотверженные. – Тенгиз перевел дух. – И это называется каникулы! Осень только началась! Что же дальше будет? Вы смотрите у меня: помните о зимнем обострении тоски, хандры и ностальгии и не поддавайтесь ему. Говорите обо всем, вместо того чтобы окна ломать. Говорите с нами! Какими еще словами это до вас донести?

И провел рукой по лицу.

Глава 18

Трахтманы

Праздник Суккот, во время которого принято ночевать вне дома в шалашах, видимо, специально был изобретен для участников программы “НОА” и для всех репатриантов, эмигрантов и иммигрантов вообще. Но для остальных евреев он существует вместо Елки, потому что это единственная доступная им возможность что-нибудь разукрасить и обвесить шарами и гирляндами, не создавая при этом себе кумира.

Во всяком случае, так рассуждал Натан Давидович, рассказывая о шалаше, построенном его дядей на балконе дома в иерусалимском квартале Катамон, в котором они ночевали все эти каникулы.

Натан Давидович при этом валялся на Алениной кровати и бестолково вертел в руках кубик Рубика. Алена сидела на стуле, жевала бутерброд с шоколадным маслом, запивала какао и болтала ногами.

Аннабелла листала журнал про свое любимое искусство модерн. На страницах мелькали аляповатые кляксы, которые не складывались в узнаваемые образы и назывались кубизмом и авангардом.

Я делала вид, что слушаю музыку, но батарейки давно выдохлись, и приходилось трясти плеер и стучать по нему кулаками, чтобы реанимировать.

– Ты его сломаешь, – ворчала Аннабелла. – Купи новые батарейки.

Я бы с радостью их купила, но вожатые из-за истории с окном запретили нам выходить за пределы Деревни на неопределенный срок. А больше всех пострадал ни в чем не повинный Юра.

На следующий день после происшествия его вызвал на ковер таинственный Фридман, начальник воспитателей. Юра подписал ультиматум, в котором говорилось, что его отправят домой, если он еще раз провинится. Потом Фридман позвонил Юриным родителям, которые ушам своим не поверили и чуть не упали в обморок, потому что Юра всю жизнь был круглым отличником, в том числе по поведению, и, останься он в Казани, шел бы на золотую медаль.

Однако Юра, рассказывая все это нам с Аннабеллой, не выказывал никаких признаков недовольства, а совсем наоборот, выглядел гордым и значительным. Следует отдать ему должное: он ничего у нас не пытался выяснить насчет окна и никаких вопросов не задавал. Наверное, в каждом человеке, даже в самом примерном, живет желание подвига и бунта.

Надо признаться, что я глубоко прониклась Юрой и даже попросила его научить меня запускать в компьютерном классе игру про пещерного человечка, который дубинкой выбивает еду из камней.

А в пятницу я решила, что и мне пора совершать подвиг. Отыскала Фридочку и попросила разрешения поехать в гости к моей иерусалимской родне.

Фридочка так воодушевилась, что даже не стала напоминать о том, что мне запретили выходить за пределы Деревни. Сказала, что наказание вступит в силу, когда начнутся будни, и повела в кабинет звонить Трахтманам.

Сердце билось так громко, что я плохо слышала, что именно говорила бабушка Трахтман, но хорошо помню охи, вздохи, всхлипы и крики про инфаркт. Звучало это все очень по-одесски, так что я почти успокоилась.

Трахтманы приехали за мной на такси.

Из машины вылетели две женщины и один мужчина и набросились на меня с таким шквалом эмоций, что мне стало дурно. Фридочка стояла поодаль и утирала слезы бумажным носовым платком.

– Вы только посмотрите на этот пунем! – восклицала незнакомая бабушка Сара, щипая меня за щеки. – Кик зи ун! Это же вылитая Лизонька, только исхудавшая!

– Деточка! – кричал незнакомый дед Илья, сжимая меня в железных объятиях, пахнущих бензином. – Деточка наша родненькая! Как же ты похожа на нашу Михальку!

– Зоенька, – говорила тетя Женя, – невероятно, невероятно же! Какое счастье, что мы встретились! Как долго мы тебя ждали!

Я не знала, куда себя деть от смущения, понятия не имела, что и как говорить, и пожалела о том, что плохо подготовилась к встрече. Но мои новоявленные бабушка, дед и тетя как будто этого не замечали.

Они запихнули меня и мой рюкзак в такси и помчались в свою Рехавию. За рулем сидел дед Илья, который, как оказалось, работал таксистом и который по дороге чуть не сбил двух пешеходов и чуть не врезался в столб.

Они задавали столько вопросов, что я не успевала отвечать и была им за это очень благодарна.

У старших Трахтманов обнаружилась большая добротная квартира с высокими потолками, цветными коврами, двумя балконами и огромным холодильником, с которым мне предложили лично познакомиться. Стол был накрыт и ломился от салатов. Только елки не хватало для довершения праздничной атмосферы.

Сам район Рехавия был островком Европы на востоке, и я в очередной раз подивилась, каким разным бывает Иерусалим: как книга, которая не определилась с жанром и в которой чуть ли не каждая глава уносит тебя в другой художественный стиль.

Рехавия была кварталом зажиточных иерусалимских старожилов, в основном выходцев из Германии и Польши, обосновавшихся здесь в тридцатых годах, и в придачу кварталом богемной молодежи. Обитали в ней поколения чинных академиков, врачей и адвокатов и приезжие студенты социальных дисциплин: будущие политики, социологи, экономисты и психологи, набивающиеся кучами в съемные квартиры.

Район был ухоженным, белый баухаус утопал в густой зелени, в тени листвы прятались уютные маленькие парикмахерские, бутики, булочные и кофейни. Погода снова стала летней, на солнечных террасах читали газеты пожилые господа в пиджаках, старушки с лакированными фиолетовыми волосами пили дымящийся чай из высоких стаканов, группки разношерстных лохматых студентов в пижамах и домашних тапочках с запалом беседовали, молодые папы укачивали на руках младенцев, а молодые мамы расплачивались с неторопливыми официантами, которые вразвалочку ходили взад-вперед, флиртовали с коллегами и клиентами или курили на углу. Никто никуда не спешил, никуда не бежал и не тащил горы покупок из супермаркетов; все выглядели так, будто сто лет друг с другом знакомы.

Запах кофе приятно щекотал нос, унося меня в фантазии про Монмартр финдесьекля и австро-венгерскую Вену. Так что сперва не очень понятно было, как оказались мои не богемные и не аристократические одесситы в декорациях романа Цвейга.

Вскоре все прояснилось: квартиру в фешенебельной Рехавии семейство Трахтманов приобрело благодаря врожденной смекалке деда Ильи. Кто-то обанкротился, квартиру за бесценок срочно сбывали с рук, а дед узнал об этом от клиента, которого вез в аэропорт. Получив контакт банкрота и вернувшись из аэропорта, дед Илья, недолго думая, зашел в банк, взял ипотеку и, даже не посоветовавшись с бабушкой Сарой, приобрел за “полторы лиры” роскошную квартиру на улице Харлап. В те времена в Израиле еще не пользовались шекелями.

Дед Илья умел получать ценную информацию от разговорчивых пассажиров. В отличие от всех остальных таксистов, он считал, что пассажиров лучше слушать, чем припадать им на уши. Таким образом узнаешь массу полезных вещей, которыми потом можно воспользоваться, если есть смекалка.

Было очевидно, что двадцать лет жизни в Израиле не истребили из деда Ильи одесского биндюжника.

Именно благодаря этим качествам при первой же возможности удрать из Союза дед Илья, не раздумывая, подал документы и увез всех на историческую родину.

Всех, кроме моей мамы, чьи коммунистические идеалы и любовь, как известно, воспротивились такому скоропалительному решению.

Бабушка Сара ничем не напоминала мою строгую и замкнутую маму и, в отличие от нее, была яркой и экстравагантной женщиной. Она работала бухгалтером в фирме, поставляющей продовольствие базам израильской армии. В ее присутствии, хочешь не хочешь, а пришлось почувствовать себя на Молдаванке, несмотря на декорации романа Цвейга.

Тетя Женя, мамина младшая сестра, тоже не была похожа на маму. Она оказалась гораздо более улыбчивой. Тетя Женя получала докторскую степень по биологии в Иерусалимском университете и жила с мужем и детьми в другом районе, попроще.

Муж тети Жени, смуглый йеменский еврей по имени Томер, и мои двоюродные брат и сестра, Асаф и Михаль, ждали нас в квартире. Они тоже бросились ко мне, и тут выяснилось, что по-русски ничего не понимают. Михаль была старше меня на год, а Асаф – на год младше. Оба широко улыбались, резво жестикулировали, громко и отчетливо выговаривали слова, как если бы я была тупой или тугой на ухо.

Всех согнали за стол, и я внезапно поняла, как соскучилась по домашней еде. Мой отказ от мяса фраппировал присутствующих, и они в три голоса принялись обвинять своих гойских одесских сватов в таком извращении. Остальные три ивритских голоса я плохо понимала.

С ходу обработать излившийся на меня поток информации я была не способна. Я понимала, что эти люди со мной одной крови, но воспринимать их как своих ближайших родственников было трудно. Все это не укладывалось в голову, как не укладывался тот факт, что родители могут прожить столько лет вдали от своей собственной дочери. В моем представлении семья была понятием слитным и нераздельным, и все это казалось мне чудовищным недоумением. Я их не то чтобы обвиняла, но противное слово “предательство”, произнесенное папой, когда я собиралась уезжать, и засевшее глубоко внутри, не позволяло полностью увлечься новообращенными родственниками, несмотря на их теплоту и радушие.

Наверное, самое время было задуматься о том, что история повторяется, но я задумалась об этом намного позже.

Я была смущена всепоглощающим вниманием к моей персоне, не понимала, как обращаться к родичам: на “ты” перейти не удавалось, и уж тем более не получалось называть бабушку бабушкой, а деда – дедом, поскольку дед и бабушка у меня были одни, оставшиеся в Одессе, и казалось, что титуловать таким же образом незнакомых людей тоже было предательством. Так что я уворачивалась от прямых обращений, мычала, экала и односложно отвечала на вопросы.

А вопросов было очень много. Всем хотелось узнать, как прошли последние двадцать лет, но разве можно пересказать целую жизнь? Я говорила, что все хорошо, окей и беседер, что Одесса всегда была добра к нам, много рассказывала об успехах Кирилла, но когда выяснилось, что я лишь год назад узнала о своем еврействе и, собственно, о самих Трахтманах, поднялся переполох.

Вейзмир, как так можно было? Это кричал дед Илья, проклиная мою семью. Чтобы у них кошка не рожала! Скрывать такое! Его прадеды были уничтожены за то, что родились евреями, и кто посмел лишить мою внучку памяти о них? Память – единственное достояние еврейского народа, без памяти мы ничто, орала бабушка Сара. Это все гой виноваты, это все мой папа виноват, это все виновата моя бабка-антисемитка, которая возомнила себя аристократкой и стеснялась происхождения своей невестки. Какой ужас, что я росла, как плющ, без корней, в полном неведении. Это непростительно!

Я пыталась объяснить, что мои родные ни в чем не виноваты, а просто хотели облегчить мне жизнь, в чем, впрочем, сама уже не была уверена, но тут почувствовала, что от меня требуют принять сторону в чужой распре. Сердцем я, естественно, выбирала свою родную одесскую семью, но факты говорили сами за себя: я уехала от них и сейчас торчала в Иерусалиме, за столом у другой своей семьи.

До чего странно, что люди придают такое значение национальной принадлежности, думала я, и что именно эта бессмысленная абстракция разделяет их и раскидывает через границы, несмотря на то, что общего между ними намного больше, чем различного.

В отличие от Иерусалима, Одесса никогда не заставляла своих обитателей отождествляться с той или иной группой лиц – она объединяла людей, превращая их из представителей разных народов в просто одесситов.

– Так, – сказала рассудительная тетя Женя, кидая многозначительные взгляды на своих родителей, – давайте прекращать. Зачем ворошить прошлое? Зоенька с нами, и это главное. По-моему, ты очень устала от нашей болтовни. Пообщайся лучше с Михаль и Асафом.

Сказала своим детям несколько слов на иврите, и те увели меня в комнату для гостей, где перешли на неплохой английский и принялись рассказывать о своей школьной жизни. Учились они в самой лучшей школе в Иерусалиме, которая называлась “Леяда”. Я возразила, что Деревня Пионерских Сионистов является самой лучшей школой в Иерусалиме, но они презрительно фыркнули.

Михаль и Асаф обещали познакомить меня со всеми своими друзьями и сводить в Синематеку, где самая продвинутая иерусалимская молодежь смотрела нигде более не доступные фильмы, после чего заседала в кафе “Какао” с видом на Стены и на Бассейн Султана, в котором проходили крутейшие рок-концерты. Еще они обещали познакомить меня с иерусалимской ночной жизнью, которая начиналась в подвальном баре “Андерграунд” в центре города, продолжалась за пивом в “Синей дыре” и заканчивалась суперпопулярной дискотекой “Оман-17” в рабочем районе Тальпиот, куда стекались все, кто учился или служил в этом городе.

Я спросила, неужели родители не запрещают им шляться незнамо где по ночам, на что Михаль ответила, что израильские родители верят в демократичное воспитание, полагаются на здравый смысл своих детей, доверяют им, и вообще, им скоро в армию, а это значит, что они уже практически взрослые люди.

Знаю ли я, в каких войсках я хочу служить? – спросил Асаф, вызвав у меня очередной шквал конфуза, потому что над этим вопросом я никогда не задумывалась, а, наверное, стоило.

Хотелось им сказать, что я всего лишь два месяца в Израиле и ничего еще не знаю ни про сам Израиль, ни про армию, но показаться полной идиоткой не хотелось, так что я сказала, что хочу быть армейским поваром. Они рассмеялись.

А когда меня стали спрашивать, правда ли это, что в России все пьют водку, едят свинину, от рождения сильны в математике и играют на скрипках, мне стало так неловко, что больше всего на свете захотелось вернуться к Алене, Натану, Юре, и даже девочки из Вильнюса привиделись мне кровными сестрами, гораздо более родными, чем эти чужие дети, которые думали, что я из России.

– Неужели ваша мама никогда не рассказывала вам об Одессе? – спросила я. – Вы же сами наполовину “русские”.

Михаль и Асаф переглянулись.

– Кому интересно далекое прошлое? – сказал Асаф.

– Вам не интересно узнать, откуда родом ваша семья и вы сами? – недоумевала я.

– Не особенно, – пожала плечами Михаль. – Какое это имеет значение? Мы же здесь родились. Наш папа тоже здесь родился, хоть его родители и приехали когда-то из Йемена.

– Из какого города? – спросила я.

– Не помню, – задумался Асаф. – Наверное, нам когда-то рассказывали, но я не уверен. Бабка и дед с той стороны не любят об этом говорить.

– Почему?

– Ты что думаешь, это просто, когда твоя мама русская, а папа – сефард? – удивилась Михаль моему непониманию. – Лучше прошлое забыть. А еще лучше – никогда не встречаться семьями на праздниках и по субботам. Иначе начинается такой балаган, что хочется сдохнуть.

– Но вы же все евреи! – не могла я понять.

– Евреи евреям рознь, – объяснил Асаф. – Ашкеназы это одно, а сефарды – совсем другое. Это как небо и земля. Ничего общего.

– А вы тогда кто?

– Когда как, – ответила Михаль. – Лучше всего быть ашкеназкой. Но не русской. Русской – совсем плохо. Русских не любит никто. Но и восточных не любят. Йеменские бабка с дедом натерпелись от этих ашкеназов, жили в жестяных бараках, как скоты, когда сюда приехали, по десять человек в одной комнате. Так что я не знаю.

– Мы и то и другое, – ответил Асаф. – Нам кругом не повезло. После армии я уеду жить в Америку. Буду работать грузчиком на перевозках, пока не разбогатею. Потом женюсь на американке. Если не найду подходящую девушку, тогда фиктивно. Отсюда надо ноги уносить, это каждому ясно.

– А я – в Австралию, – заявила Михаль. – Я буду разводить овец на ферме и производить экологически чистый сыр, а по выходным заниматься серфингом. Вообще терпеть не могу Иерусалим, потому что здесь нет моря. Это самый противный город на свете и самый скучный. Слушайте, а давайте сгоняем в Тель-Авив в следующие выходные!

– Ялла! – поддержал ее Асаф, что означало “давайте”.

– Я не могу, – сказала я. – Я наказана, и меня не выпустят из школы.

– Ой, – с внезапным сочувствием произнесла Михаль, – бедная девочка. Как ты вообще можешь так жить? Вдали от дома, без семьи, без нормальной еды в холодильнике. Это, наверное, хуже любой армии. Вам ничего нельзя, и вы все время под контролем. Ужас. Над вами там, наверное, издеваются, да?

– Нет! – Я почему-то возмутилась до глубины души. – Не издеваются. Я хочу вернуться в Деревню.

– Постой, но ты же должна была остаться у нас ночевать.

– Я передумала.

Встала с дивана и вернулась в гостиную. Тетя Женя и бабушка Сара накрывали сладкий стол.

– Я хочу домой, – сказала я.

– Господи, – всполошилась бабушка Сара. – Куда домой?

– В Деревню, – ответила я, – Сионистских Пионеров.

Глава 19

Многоводы

Так что, несмотря на кошмар, ужас, недоумение, причитания и уговоры, Трахтманам пришлось отвезти меня обратно в Деревню в самый канун субботы. Должно быть, они решили, что гойская семья совсем меня испортила, превратив в нелюдя.

Кажется, моим двоюродным досталось на орехи, потому что их посчитали косвенными виновниками моего внезапного побега. Но они не были ни в чем виноваты – просто мне всегда тяжело давались новые знакомства. К тому же запоздалая простуда наконец меня настигла, и после ужина в полупустом Клубе в компании Аннабеллы, Юры Шульца, литовок и Фридошки меня стало знобить, и я слегла с насморком.

Аннабелла куда-то подевалась вместе с Юрой, а у меня даже не было сил рассуждать, в самом ли деле решила она его соблазнить для пущей достоверности, или ей просто не хотелось от меня заразиться.

Часов в десять утра Фридошка заглянула ко мне с чаем, лимоном и вареньем, но я ей в сотый раз объяснила, что терпеть не могу чай. Тогда она приготовила мне гоголь-моголь.

Домовая попыталась в очередной раз выяснить, почему я не осталась ночевать у родственников, но у меня не было желания разговаривать. Фридошка не обиделась, но уходить не собиралась. Уселась возле моей кровати и принялась читать наши заповеди. На ее лице появилось задумчивое выражение, и она спросила, соблюдаем ли мы все пункты. Я пожала плечами. Потом она спросила, почему это мы решили никому ничего не рассказывать и друг друга ни о чем не расспрашивать, и как же доверительные отношения между членами одной семьи, коей мы теперь являемся?

– Не надо закатывать глаза, – пожурила меня Фридошка.

– Не надо читать чужие уставы, – парировала я.

Но домовая, вероятно, списала мою враждебность на счет болезни и измерила мне температуру. Градусник показал 37,9. Я заволновалась, потому что дома при таких результатах бабушка была бы на грани инфаркта, пила бы валидол и валерьянку, а мне бы вызывали врачей на дом, поили бы микстурами, ставили горчичники и банки, делали горячие ванны для ног и укутывали бы в уродливые и колючие пуховые оренбургские платки, ради таких случаев хранившиеся в чулане. К тому же я очень давно не болела – с тех пор, как начала заниматься акробатикой, – а воспоминания о таких событиях проистекали из очень раннего детства и окрашивались ощущением всеобщей тревоги, так что я была уверена, что домовая сейчас упадет в обморок или забьется в панических конвульсиях.

Однако Фридошка не выражала никаких признаков озабоченности и заверила меня, что это не температура, а детский лепет. Дала мне одну таблетку акамоля – главного израильского лекарства от всего на свете, включая месячные и гастрит, и наказала пить много воды. “Многоводы” было вторым главным лекарством в Израиле и тоже лечило от всех невзгод, вылетевших из ящика Пандоры.

Я послушно проглотила акамель, запила его тремя стаканами воды и понадеялась, что теперь Фридошка оставит меня в покое, но не тут-то было.

Она принялась поигрывать массивными людоедскими бусами из лжеслоновой кости с таким видом, будто созревала для важного разговора, не решаясь его начать. В итоге она созрела, кто бы сомневался.

– Знаешь что, девчулечка, я тебе скажу? Физические болезни иногда приключаются оттого, что на душе плохо.

Я моментально увидела за ее спиной тень психолога Маши и не могла больше отделаться от навязчивого видения – вероятно, дело было в температуре. Фридошка продолжила вдохновенно:

– Вот говорят, в здоровом теле здоровый дух. А я думаю, что все как раз наоборот: ослабленный организм – это следствие ослабленного духа.

– Я знаю, – перебила я ее. – Это называется психосоматикой.

– Откуда ты знаешь? – В ушах домовой затряслись пятиярусные серьги.

– Виталий нам рассказывал на групповых занятиях. Он говорил, что советские дети часто болеют, вместо того чтобы переживать кризисы эмоционально, и телом выражают душевный стресс.

– Обалдеть можно, – выразила Фридошка свое восхищение. – Это то, чем вы занимаетесь с Виталиком? Я думала, вы изобретаете символы группы и играете в “Крокодила” на сплочение.

– Не, он нам рассказывает про подростковые конфликты, чтобы мы знали, чего нам ожидать от своего ослабленного стрессом духа.

– Шикарно! Так что же, Зоенька, лежит у нас на душе? – вкрадчиво спросила Фридошка. – Что заставило такую спортивную девочку захворать?

– Дождь, ветер и резкая перемена погоды, – ответила я. – Я еще не адаптировалась к средиземноморскому климату.

– Ты же из Одессы, – заметила Фридошка. – Там климат не сильно отличается от нашего.

– Ну и что, – мудро возразила я.

– Что же мы тогда имеем? – сдвинула Фридошка брови над голубыми тенями.

Я промолчала.

– Окно в уборной сломали, подрались с Юрочкой, поругались с Тенгизом, поссорились с бабушкой и дедушкой, которые нас так любят и так ждали. По-моему, Зоенька, тебе не очень весело.

– Я ни с кем не ругалась, – снова пришлось мне возражать. – Но мне редко когда бывает очень весело. Постоянно весело может быть только дуракам.

– Тебе грустно! – набросилась Фридошка на след эмоции, и я подумала о том, что нашим мадрихам больше всего на свете нравилось охотиться на наши чувства и любое их проявление являлось для них чем-то вроде победного трофея.

– Мне не грустно. – Я начинала раздражаться. – Я просто заболела. Я же не подделала свою температуру. А вы обвиняете меня в том, что я симулянтка.

– Боже упаси! – Фридошка схватила за бусы. – Я тебя ни в чем не обвиняю, девулечка моя! Я пытаюсь понять...

– Нечего тут понимать, – сказала я. – Меня пересекают шизоидные линии, вот и все.

Трудно описать то выражение лица, которое появилось у Фридошки после этой фразы. Наверное, так выглядел голодный Торопыжка, когда проглотил утюг холодный.

– Где ты набралась такой блажи? Это Виталик вам диагнозы ставит? Да он вообще не психолог!

Я обиделась от имени Виталия, которого очень уважала. Разговор опять уходил не в ту степь, и я невольно задумалась о том, как же так получалось, что каждый раз, когда я с кем-нибудь заговаривала, в итоге оказывалась в тупике недоразумения и недопонимания. В самом деле, лучше было быть немой.

– Как дела у Тенгиза? – решила я сменить тему, понимая, что от домовой просто так не отделаться.

– Что ты имеешь в виду? – опять насторожилась Фридошка. – Он на тебя не сердится за происшествие с окном, если ты это имеешь в виду.

– Да ничего я не имею в виду! – повысила я голос и закашлялась. – Я просто спрашиваю, как у него дела. Он же мой мадрих! Неужели только вам можно вечно лезть к нам в душу, а нам нельзя даже поинтересоваться, как вы поживаете?

– Позвать к тебе Тенгиза? Ты хочешь с ним поговорить?

– Нет! – вскричала я. – Не хочу! Чего вам всем от меня надо? Почему вы не можете оставить меня в покое? Я что, выгляжу как сумасшедшая? Веду себя как сумасшедшая? Я не нарушаю школьные правила, не встречаюсь с мальчиками, не пью, хорошо кушаю. Почему вы вечно подозреваете меня в каких-то скрытых грехах?

Фридошка, кажется, перепугалась. Дернула бусы слишком сильно, и они порвались. Рассыпались пластмассовые костяшки, заскакали по плитам. Она бросилась их собирать, распи- хала по карманам зеленого сарафана.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.